

Вещь

2(24)/2021

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Проза

Николай Кононов

Никита Бегун

Поэзия

Ирина Кадочникова

Игорь Ваньков

Драматургия

Николай Гостюхин

Переводы

Ульяна Вольф, Нора Боссонг



Вещь

2(24)/2021

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

18+



3	Ирина Кадочникова <i>Страус, улитка и восковые уродцы (стихи)</i>
7	Николай Кононов <i>Гомераида, Дом Гомера (две новеллы)</i>
17	Игорь Ваньков <i>Самонаводящиеся ракеты (стихи)</i>
21	Виталий Кропман <i>Возвращение в Шварценберг (повесть)</i>
48	Иван Ахметьев, Михаил Бараш, Мария Ботева, Сергей Васильев, Артём Верле, Данила Давыдов, Иван Курбаков, Андрей Сен-Сеньков, Марина Хаген, Ася Энгеле <i>Частое дыхание (стихи и проза авторов издательства «всегоничего»)</i>
56	Алексей Рачунь <i>Дорога из Кумарино в Прёт (рассказ)</i>
64	Владимир Лаврентьев <i>Где всё, что любил я? (стихи)</i>
67	Никита Бегун <i>Опрокинутая окрестность (короткая проза с предисловием Николая Кононова)</i>
73	Николай Гостюхин <i>Карантин (пьеса)</i>
114	Ульяна Вольф, Нора Боссонг <i>Движение и наблюдения (переводы с немецкого и предисловие Ольги Брагиной)</i>
120	Ирина Христолюбова <i>Автопортрет (рассказ с предисловием Ксении Гашевой)</i>
126	Юлия Подлубнова, Юлия Баталина, Сергей Сигерсон, Алексей Траньков <i>о книгах Александра Самойлова («Самолет в Боливию»), Саммер Ленца, Антона Бахарева («Когда папа был маленький») и Владимира Кочнева («Таксист и 17 раз») (рецензии)</i>
135	Авторы номера

Ирина Кадочникова

Страус, улитка и восковые уродцы



Фрагменты

*

Вот глина ходит под моей ладонью
По кругу ходит глина
Все сначала
Лепила кружку
Но не получилось
Пришлось ломать
И снова поднимать
Такая жизнь.
Мне скоро тридцать пять,
А я себя еще совсем не знаю

*

Вот мне сказали:
«У тебя меж ребер
есть маленькая болевая точка.
Нажми сюда — увидишь, будет больно».
И я нажала — правда, было больно.
И каждый день теперь на эту точку
я нажимаю, и держу подолгу,
и привыкаю, и уже не больно.

*

А тут еще недавно мне сказали,
что я не выросла.
Да, так мне и сказали:
«Вы до сих пор не выросли». А я
стою, смущаясь, развожу руками

и улыбаюсь: надо же, всем видно,
что я не выросла,
а мне не видно.
А мне нормально в зеркале стоять.
А мне нормально про себя не знать.

*

А мне сегодня вспомнился музей —
Камбарский краеведческий музей,
как мы с Олегом два часа глазели
на восковых уродцев: вместо пальцев
у одного клешня, а у другого
свиное рыло, а еще там был
ужасный двухголовый человек
(мы раза три на выставку ходили —
все наглядеться не могли никак).
И шли потом по пруду, и смеялись,
и никого как будто не боялись.

И я запомнила ту зиму: свет
в музее желтый, восковые лица,
и почему-то бабушка, и нет
автобуса, и мы идем по пруду.
Я ненавижу школу, но люблю
Олега (мы с ним даже целовались,
когда нам было лет по шесть), и вот
мы с ним идем, а рыбаки сидят
над лунками, и смотрят в глубину,
и правят самодельную блесну,
и хоть зима, но так похоже на весну.

нажму на точку.
отпущу.
нажму.

Ни самолетов ни ракет ни поездов
Привет я говорю тебе на старте
Когда еще мне не хватало слов
Я шел уже в трясушемся плацкарте

Стекло звенело тамбур обещал
Такое невозможное не знаю
О если бы мне голос был он звал
Но я его совсем не понимаю

Но я иду за ним фальшивый звук
Я плачу над размытыми чертами
Я горемык привет я близорук
Над облаками плачу и над вами

В иллюминаторе земля пэчворк
Лоскутное большое одеяло
Корабль «Восток» мне слышится «Восторг»
Такое всевозможное начало

Зеленый мир огромный белый шум
Как в котловане созревало лето
Как ехал Пушкин в солнечный Арзрум
Как бедный Чацкий требовал карету

София — Тосна — Чудово — Торжок
И Веничка все грезил Петушками
И манна прорастала между строк
И проплывала горлинка над нами

В эпоху сверхлюдей сверхскоростей
Так хорошо замедлиться на звуке
Пожить в кругу особенных теней
Пожать врагу озлобленному руку

Сказать любая точка это А
Всегда с нуля отрывисто и четко
Привет не выходи из ампулы
Будь птичьей обезумевшей трещоткой

Зачем нам голос если никогда
Ты не прочтешь себя на развороте
Вода земля вода земля вода
На автостопе на автопилоте

Я вышла из метро
Такой же снег стоял
В пакетах новый год
Горел и остывал

И башенки кремля
Кололи облака
На Чеховской смешно
На Пушкинской светло

Но дальше — ничего
Раскручивай сюжет
Раскачивай мотор
Сквозь гоголевский бред

Сквозь достоевский сон
Раскольниковский взгляд
Кто счастлив, кто влюблен
Кто просто виноват

И поезд под землей
И ты со смотровой
В подсветке над Москвой
Летишь вниз головой

Страус в 1913 году

*Показывали страуса в Пассаже.
А. Тарковский*

А страуса того давным-давно
На свете нет.
А я всё представляю
Сиреневые веки, жёлтый клюв.
И как потом переживал хозяин.
Я думаю, он не был равнодушным
И страуса любил и часто гладил.
Я думаю, он даже говорил
Со страусом, а тот ему кивал
В ответ, а иногда молчал угрюмо.
Не знаю, сколько лет они живут —
Я никогда про это не читала.

Хозяин был, наверное, француз
И страуса купил на птичьем рынке —
Но это всё неправда, потому что
Какие страусы на птичьем рынке -
Там только кошки, попугаи, рыбки,
И хомячки, и ядовитые лягушки,
А страуса за просто так не купишь.

А страусы в долине Лимпопо
А страусы бегут и только перья
От крыльев если птица не летает
То это ничего еще не значит
А страусы бегут, бегут, бегут
А Лимпопо — река почти из сказки

С такой немножко розовой водой
В бутылке у учителя стояла
Я тоже это прочитала в книжке
Учитель умер, а вода осталась

Мне жалко всех — хозяина-француза,
И страуса, и тех людей глазастых,
Которые ходили и смотрели
На страуса в тринадцатом году,
Учителя, писателя, солдата
И мальчика, который всё запомнил —
Каким был страус, как стоял недвижно,
Как всматривался в утреннюю тьму,
Как свет стекал из-под стеклянной крыши,
Каким был новый мир в начале века —
Внезапным, торопливым, чёрно-белым.
Мне жалко всех — не знаю почему.

у всех есть дети (это хорошо).
они живут в землянках и вигвамах.
ещё живут, бывает, на деревьях.
ещё они живут на чердаках.

ещё они такое что-то знают —
про снег и свет, когда начало марта
и в деревянных бабушкиных окнах
и лёд, и солнце, и слезящееся небо.

смотри в себя — как смотришь телевизор,
попристальнее, что ли, и увидишь:
твои смешные внутренние дети
ушли куда-то — может, в тёмный лес.

они ушли, забрав с собой крыжовник,
песочные часы, цветные стёкла
и странное то слово «готовальня»,
которое у нас во всех шкафах

лежало — и его они забрали,
и баржу деревянную из бочки,
калейдоскоп, и верный твой фонарик,
и поплавок из птичьего пера.

и вот они идут по перелескам,
идут себе, свистят в свои свистульки,

на колоски нанизывают землянику
и место выбирают для землянки.

и если ты сейчас поставишь точку,
то будет очень коротко и честно.
поставь же точку, выходи из круга
и говори: не поминайте лихом.

Улитка Молли ползет по травинке
В глазах у нее золотые дождевики
А я на море иду по тропинке
Улитка Молли, садись в корзинку
Поехали, Молли, со мной на море
Гуляй, улитка, по белому полю
моей ладони, крути спирали,
молчи про то, как мы не умирали
как мы крутились, волна шумела
Возьми себе за большое дело

Так страшно, Молли, так страшно, братцы
когда вот-вот — и наступят на панцирь

Птичья смерть

У русалки щучий хвост.
У лисы кошачий смех.
У быка бараний рог.
У кощера птичья смерть.

Птичья смерть клюёт в окно,
В перевёрнутое дно.
Из последнего вагона
Вдруг посыпалось зерно.

Ты расти, расти, зерно,
Ты жужжи, веретено.
Птичья смерть, игла кощера,
Нас догонит всё равно.

Гром гремит, земля дрожит,
Птичья смерть уже летит,
А пока — закрой гештальты,
Ипотеку и кредит.

Добрый доктор Айболит
Всех когда-нибудь простит,
Всех помилует, ребята,
Хоть ковид, хоть пульмонит.

Всем пропишет белый свет —
У него другого нет.
В чистый космос безвозвратный
Покажи входной билет.

Там ваноговские ночи,
И танцовщики Матисса,
И фаумские портреты,
И прозрачная Земфира,

Небо Лондона и долгий
Поцелуй на красном фоне.
Это мир внизу взрывался,
А у нас был тихий праздник.

Потому что всё когда-то
Превращается в кино,
Потому что спишь и видишь
Перевёрнутое дно.

Птичья смерть в тебе живет,
И танцует, и поёт,
А когда совсем устанет,
Перестанет и умрёт.

Николай Кононов

Гомериада



Вот с помощью прикрепленного аспиранта ввели профессора-слепа, отменного знатока и самого последовательного критика отклонений от канона, мимо его обостренного слуха не проходила ни одна запятая, могущая угрожать «краеугольной пирамиде марксо-энгельсова познания» (именно так именовал он сие сооружение), блистательно им изученной на ощупь в полной тьме, когда он осязал брайлевские плотные листы с насечками, как пуговицы на безупречно чистых хитонах.

Он уселся рядом с аспирантом, тот до головокружения начитывал ему вслух главы новых публикаций, реферативные статьи и прочие идеологические новины, не переложенные еще на тактильный язык. Профессор-слепец писал иногда саморучно свои

«статьи» по трафарету, как писатель-герой на все времена Н. Островский, и кривые буквы втискивались в вырезанные в толстом картоне отверстия узкие зоны, как наступающая пехота во вражьи окопы. Чтобы не писать свою галиматью по одному и тому же месту многократно, им использовалась специальная, выдуманная им же каретка, фиксирующая обратный ход и подталкивающая в правильном направлении его руку.

Аспирант потом перестукивал эту похабщину на неподъемной машинке с метровой кареткой, шумной, как ткацкий станок. Он додумывал в трескотне клавиш, звяканье переката и дрязге возвратной каретки беглые тезисы слепа, он разворачивал тезисные бреды в относительный, якобы научный порядок.

Он зачитывал с артистическим выражением получившееся самодовольному Гомеру — тот, узнавая свои облагороженные обороты, мокро улыбался, как младенец соске.

— Хорошо читаешь, с правильным нажимом! — говорил слепец аспиранту, но, доверяя только своему обонянию при тесном общении с людьми, подозревал его в каких-то подвохах, будто он, здороваясь с ним за руку, кажет язык или кукиш свободной рукой, потому что аспирант снимал комнату у старухи, обожавшей сушить смородинные ветки, пахнущие вообще-то кошачьим блудом, и Гомер инстинктивно подозревал в чем-то лукавом и своего визави.

Гомер гудел:

— А вот если б сам товарищ Левитан пару тезисов в радио зачел?

Аспирант показывал ему рукой, согнутой в локте, что бы ему зачел товарищ Левитан.

— А представь, Семен, однако? Каково? На гранитах прям можно вырубать! А?! А все ж голос-то у тебя высоковат, высоковат, попискиваешь ты, Семен, иногда... Ты посерьезней, посерьезней, весомей. Помни, как товарищ Левитан гудит: «Говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза!» Это тебе лавина в горах, а не то что ты бачок к какой-то матери за цепку дернул. А ты чей-то встал?

Аспирант, стоя перед ним, уже показывал все, на что был мимически способен.

Но с другой стороны, аспирант Семен безропотно правил и правил, как заведенный, будто попал в плен навсегда, доводя Гомеровы гимны буквально до «ленинского блеска», где, как известно, словам тесно, а мыслям просторно, если только эту «херотень», как говорил про себя задолбанный машинкой циник, можно было считать мыслью. Ведь это была совсем не картезианская мысль, призывающая человека к существованию, а просто длинный-длинный силлогизм, закамуфлированная тавтология, вызывающая в читателе такой же дурацкий отклик в виде бессмысленного речевого оборота, не приводящего ни к чему, кроме самого факта говорения, ну

и т. д., и т. д. Текст, порождаемый бедным аспирантом, принадлежал не думающему человеку, а самым самовзаимодействующим невиноватым словесам, составленным в строчки.

А слепец, надо сказать, в своих писаниях, вернее, диктантах, любил обращаться для приукрашения стиля к геологической терминологии, уместной в воспоминаниях бодрого альпиниста, коротающего свой век на равнине. И он радостно вставлял каждый раз в уже отредактированное, когда прослушивал чтение изготавливаемых статей, что-то, например, такое:

— глубочайшая пропасть, разделяющая диалектиков-материалистов и реакционных начетчиков, трам-пам-пам...

— неодолимый хребет, куда отправляться хваленым методологам без багажа ленинизма просто курам на смех...

— гряда, а далее простирается плато безупречных ленинских доказательств...

— леденеющий водораздел между марксистской истиной и убожеством новейшего извода этих хваленых...

— и наконец, воссиял пик небезызвестной прогрессивному человечеству ленинской работы...

Казалось, что аспирант сам подсовывал ему пенопластовые модельки этих слов, чтобы он, как следует ощупав их, производил впечатление провидца. И он всячески доказывал, больше истовостью, чем реальными познаниями, что видит, невзирая на слепоту, далекие идеологические ландшафты сквозь неповоротливое время.

Гомер, конечно, почитал себя если не великим философом, то как минимум выдающимся стилистом и просил аспиранта частенько зачитывать по нескольку раз любимые места из приготавливаемого, чтобы переставить местами пару слов, или добавить выразительный эпитет, или еще какой-то знак, лучше восклицательный.

Именно он, кстати, был одним из консультантов докторской Холодка.

Гомер, кстати, ценил Холодка за истовый запах человека, не перестающего напряженно думать, да так сильно, что в его, Холодка,

сторону Гомеру всегда хотелось повернуться, будто ветер задувал, а он — просто флюгер на шесте. Он его суть словно бы чуял и инстинктивно понимал, что Балабуркин ему ничего такого нехорошего перед незрячими очами не покажет, а не то что этот Семен, на чей кукиш он однажды буквально напоролся, совершив внезапно широкое движение рукой, обхватив Семенову фигурацию своей ладонью.

В теории холодковского труда консультант не понимал ничего, так как больше практиковал критику буржуазной философии, черпая представления о всяческих измах из реферативных обзоров, зачитываемых ему аспирантом, давно превратившимся в репродуктор. Но по меньшей мере Холодку он не мешал, а только побрякивал удовлетворенно, послушав пару страниц, как альпинист на привале после трудного восхождения, типа такого:

— Глубоко взял, ничего не скажешь, как лёдник перешел. Прямо по фирну, но чутьок пару раз не сверзнулся, ну едва-едва не сверзнулся к какой-то матери, но ссылка на первоисток спасла тебя буквально. Мастер, мастер;

— Прямо сопка у тебя просматривается, берешь, берешь высоту, не боишься пологости, размеренно дышишь, хоть и кислороду там немного, в «Капитале»-то об этих твоих трудовых делах — одни разрежённости;

— А вот об отрогах ты и не подумал, еще пошлифуй-ка по Марксу, так с размаху я бы на твоём месте не стал в крутизну переть, ох, дело твоё молодое, прешь на рожон, только ледоруб о базальты тупишь?

— Да, вот сюда хорошо взошел, прямо альпенштоком врубил, так крепи страховки у классиков двойным зацепом!

Гомера ценили на кафедре вообще-то за умение играть на баяне и петь благородным баритоном задушевные песни — «Варшавянку», «Красную гвоздику», «Там, вдали, за рекой», «След кровавый тянется» и т.д., и т.д. Иногда на общих праздниках, пропустив стопарик-другой, он даже отваживался повальсировать. Если находилась смелая партнерша,

возлагавшая руки слепому баянисту на плечи, он медленно, составными шагами, будто под ним лед, поворачивался вместе с нею на одном месте, как в центре долгоиграющей пластинки, не выпуская из объятий баяна и, само собой, извлекая из мехов танцевальные звуки. Его самые любимые наигрыши все знали наизусть и могли, конечно, нестройно подпевать — и «В лесу прифронтовом», и «Осенний сон», и «На сопках Маньчжурии», и «Бьется в тесной печурке огонь». Ведь почти все песни, любимые народом, были, как правило, вальсами.

Конечно, с ним всегда стремилась потанцевать Эсфирь Стахановна, не без женского умысла, конечно. Она игриво возлагала прямые руки на его плечи, чтобы не мешать игре, обходила его медленно поворачивающееся тело с брюхом баяна, инструмент он беспрестанно раздвигал, мехи вздыхали по-медвежьи, пипки клавиш с треском жамкались. Партнерша хорошо понимала, что оклад профессора все-таки это ничего себе. Прочие присутствующие старались не смотреть, словно баянист публично оправлялся в сторону прохожих.

Почему-то ученый разговор синклита коснулся темы воскресенья, но не того Воскресения с заглавной буквы, и не того, что великий русский роман, а простого, когда не работают.

И тут Гомер, а он был памятливым на всякие чудесные особенности прошлого, сказал, что у власти тогда, в тридцатые, не хватило политической воли изъять эту мракобесную чепухенцию из народного сознания.

— Дней было шесть — разнились номерами: «первый день шестидневки», «пятый день шестидневки» и выходной — «шестой день шестидневки». Но, к сожалению, была привязка к отжившему календарю, кажется, это академик Мезенцев с Ойзерманом курировали и накурировали, и вот — дни лишние стали набегать в месяцах, а они-то именовались по-прежнему. И с Госпланом сплошные нестыковки, табельщики взвыли, все-таки дело-то — всенародное. Нет бы с месяцев и начать по-людски.

Гомер почувствовал общее тревожное внимание:

— Это, товарищи мои, была бы революция в летосчислении. Только послушайте, товарищи мои дорогие. Прошу всех оборотиться в слух! Шестой день третьей шестидневки четвертого месяца тридцать девятого года от Великой нашей Октябрьской социалистической революции! Звучит ведь! Эх, как это звучит! Камнепад! Показываю, загибаю пальцы! Шесть, три, шесть, четыре! Как просто! Какая философская чистота! Звенит аж, как горный ручей с вершины! Никаких тебе примесей. Только числа! Просто скальные глыбы материала для работы!

А мне, признаюсь товарищам дорогим, кажется, что привязка шестидневок к до-революционным месяцам была идеологической диверсией, таким подкопом под фундамент. Вовремя не разоблаченной, товарищи мои, чистой диверсией неразоблаченной! А какое дело загублено. Как бы нам на идеологическом-то фронте легко б работало! Атеизм бы как наука отмёр сам, так как никаких вопросов со словом «воскресение» ни в чьей головке народиться не могло. Слова-то уже не было бы такого даже, товарищи вы мои драгоценные!

А все сбросили в ущелье сомнений, двойных толкований, такую материалистическую идею к матушке нашей любимой в тартарары. Как всегда! Вредительство это, и не переубеждайте меня! Сегодня уже никто из партийного руководства такую глыбу не подымет. Нет светочей! И не спорьте со мной, товарищи мои дражайшие! Да, мыслители есть, вот недавнее слово к съезду. Ведь мысль на мысли просто-таки, чего одна химизация стоит, а светочей-то все одно нет как нет. Ибо светоч был один! Календарь — это вам не северные реки в бархан подпустить для наших братских хлопководов! Прости меня, дорогой товарищ Кунаев, коль услышишь!

Товарищ Кунаев на «ты» не услышал такой милой шуточки, конечно, так как усердно заседал в ЦК Компартии Казахстана, где хлопкового волокна не вытягивали из солончаков и целинных угодий. Но Гомеру удалось распустить слух, что он с ним то ли в каком-то родстве-кумовстве через перво-

го мужа внучатой племянницы, то ли просто дружен с некоего закрытого учебного заведения, из таких, значит, заведений, что лучше вслух и не говорить. Но намеки действовали, окружая Гомера ореолом государственной казахской силы, где с зимними ветрами по свирепости ничего не сравнится.

И спорить по существу календарного вопроса, исполненного вообще-то зловещей антропологии, никто с Гомером не стал.

Можно было и идеологический донос схлопотать как нечего делать, писанный со злой косиной, корявейшим почерком с набегом одного слова на другое, но в инстанциях, всем было известно, — разбирали любую черкотню, бегущую куда надо под любым градусом.

Чтобы как-то сгладить гомерическое мракобесие, заведующий обратился к старичку-доценту, преподающему долгие годы историю философии аспирантам. Он действительно был знатоком предмета и владел древними языками, в отличие от погромщика Гомера, не знавшего ничего, кроме десятка пережаренных во всех маслах цитат.

Тот тихим голосом смущенно пытался рассуждать о подходах и методологиях календарей в разных культурах, пытаясь нащупать хоть какую-то связь между дикой выдумкой коммунистов и чем-то еще вроде календаря майя, так как все европейские варианты, кроме революционного французского, действовавшего всего ничего, отпадали.

По привычке учившегося у прекрасных учителей он рассуждал вслух. И казался патрицием, попавшим с золотыми монетами на дикий базар, где принят только натуральный обмен шматов жратвы на клочья холстин и рванину шкур.

— А позвольте-ка мне, коллеги дорогие, реплику, исключительно прошу под протокол, — Гомер поднялся, громыхнув стулом, просто восстал, он умел это проделывать, поддерживаемый за локоть аспирантом, буд-то мог, как столб без опоры, в любой момент завалиться, устроив уже форменный погром.

Говорить он стал в сторону большого окна, отчего становилось не по себе уже всем:

— Вы тут позволили так называемую реплику, на нее никто из присутствующих товарищей-коллег со всей партийной остротой не среагировал. Какую такую реплику? Вы еще и интересуетесь? Да вы назвали календарь Великой Французской братской революции словами «всего ничего», я зафиксировал ваше: «все-го-ни-че-го».

Он провел пальцем по специальному трафарету, куда вписывал слепые каракули своих зловещностей, будто мог читать подушечками пальцев, как визионерка Роза Кулешова.

— Под протокол прошу и под подпись всех присутствующих!

Он заговорил медленно, чтобы записали без помарок:

— Я лично, доктор философских наук, профессор, проживающий по адресу такому-то, член КПСС аж с такого-то, билет номер 1234567, полагаю это антиисторическим неприкрытым политическим выпадом! Я просто-таки публично констатирую, чтобы не было разнотолков! Дадите мне протокол на подпись. Я не могу в этом огульном охаивании завоеваний Великой Революции участвовать. Прошу так и записать с моих слов. Вот, а Семен протокол проверит.

Так как Гомер истово и слепо проницал того, к кому обращал свои инвективы, то обвиняемый всегда хотел как-то отвернуться от его слепых лучей, имеющих просто инфракрасную силу, и малодушно сосредотачивался только на его неправдоподобных ушах.

Они были словно сделаны отдельно от его тела из скользкой розовой пластмассы и казались старыми помятыми протезами. Казалось, сам Гомер, перед тем как лечь спать, грубо их отстегивал, бросал черт знает куда и иногда впопыхах топтал.

Эти слуховые раковины нечеловеческого вещества, неплотского состава ужасали смотревшего на них, так как могли поломать судьбу, и это не раз случалось. Они ловили с удовольствием только простой народный говор, специфически интонированный паузами, где должны были вспыхивать матюги.

Чуткая Стахановна, посещающая кафедральные семинары диалектиков как смежница, якобы для сверхглубокого обдумывания своей грядущей докторской с позиций истинно марксистской методологии, с места заблелая, что вот народный-де календарь, фольклорный-то наш, значит, областной наш исконный календарь задушевный, куда больше, куда уж больше похож на марксистскую шестидневку еще с самой народной стародавности.

Больше похож, чем что...

Об этой мелочи она не обмолвилась...

Ее театральный грим бросался в глаза, так как была она чуть ли не единственной дамой в мужском обществе, но Гомер ее ухищрений оценить не мог, только если она, надушенная до одури, оказывалась рядом, он начинал крутить головой, определяя, откуда этот парфюмерный дух идет:

— А, Эсфирь Стаханна, вы прекрасно выглядите сегодня! — говорил он, будто прозрел, ошибаясь градусов на тридцать, уставившись мимо нее на кого-то другого.

Она обычно близко подходила к Гомеру, что-то излучая, и брала его за руку.

«Ну, с твоим народным календарем помолчала бы, тетя, — подумал зло доцент Юрий Балабурович Балабуркин (уж он-то знал народную жизнь не понаслышке), — пять дней пашешь, в шестой пить начинаешь, а седьмой заливаешь так, что два сливаются в один. Вот тебе и шестидневка».

Стахановна вставила свою фольклорную лабуду, чтобы потрафить Гомеру. Хотя подлая баба, конечно, прекрасно понимала, что марксистской эта шестидневка никогда не прозывалась ни одним носителем областного богатейшего нашего фольклора.

Доцент Юрий Балабурович Балабуркин тоже захотел что-то сообщить уважаемому собранию, но, прикидывая, какой в этом слове, то есть в термине «воскресение», может быть блуждающая приставка, попытался ее бодро про себя поотделять, но кроме «креста» в термине «воскресение» не обнаружил.

Об этом он, конечно, вслух сказать не решился.

Но человеческая мысль упорная штука.

Вот если все-таки выделить в этом рассматриваемом термине смело, не считаясь ни с чем, таким вот дерзким образом, прямо революционно, блуждающую приставку «воск» и исторический корень «ресение»?

А что?

Вот вам и «воск»!

И сборы медов «осенние» от корня «ресение»!

Вполне!

Как моя концепция замечательно работает!!!

И он уже воображал себя на кафедре разбрасывающим вокруг лучи неопровержимых доказательств, до которых никто не дотумкал.

Практически на любом материале.

Он самодовольно улыбнулся.

Он стал думать дальше.

Это ж прямой тебе ход к труду, к заветной трудовой связке!

Думай, Юрий, думай, Юра ты или нет, в конце-то концов!

Пчелы-то трудятся без выходных?

Так!

Это объективная материалистическая истина, так сказать, догмат труда!

И вот нечто свое вслух, облеченное в наукообразную форму, как докторант, он все-таки высказал максимально весомо и серьезно и, как казалось ему, чрезвычайно умно:

— А простите, коллеги, всего одно небольшое замечание — не кажется ли просвещенному собранию, что определенно связана исторически корневая номонология термина «воскресения» с трудовыми циклами бортников?

Но его не понял никто.

Это было легко объяснимо — ни одна душа не ведала еще его теории исторических корней и блуждающих приставок.

«Начетчики, мракобесы, оппортунисты, диверсанты, гробокопатели, неандертальцы, австралопитеки, да просто е*акваки порусски!» — подумал он отчетливо гадливо про коллег и округ посмотрел сумрачно и выразительно.

Лев, пришедший с каким-то своим знакомым, сидел молча, его лицо хранило неземной покой. Товарищ тоже был весьма серьезен. Может, они поняли что-то из сказанного им? На молодежь одна надежда.

Гомеров аспирант Семен что-то зашептал слепцу в большое ухо, и казалось, слизывал натек чего-то с заволосатевшей рокайльной розетки.

Дом Гомера

Сквозь чахлую входную дверь на лестничной клетке можно было услышать инсценировки по самым общеупотребительным советским книгам для взрослых и детей: «Как закалялась сталь», «Буратино», стихи А. Барто. Семен долго звонил, и через некоторое время инсценировки стихали, и Гомер отворял...

Когда Гомер в домашнем кабинете диктовал аспиранту свои пагубные критические раздумья, то на столе у него масляно чернел бюст Ленина каслинского литья килограмма на три, его он постоянно ощупывал до лосня-

щегося блеска, шарил указательным пальцем по ушам, лысине, носу и глазницам. Любил общелкивать надбровные дуги. Иногда зажимал его ладонью так, что, будь Ленин живым, то задохся бы точно.

Гомер иной раз сетовал, что бюст все-таки не такой большой, как хотелось ему, и это даже несерьезно. Хотя у него был бюст и покрупнее, почти в натуральную величину, но из материала, раздражавшего Гомера, — из бисквитного фарфора, ставшего от старости серым, отзывающегося гулкой пустотой, и был шершав настолько, что, осязая вождя, Гомер

исходил крупными мурашками. Согласитесь, для работы это было не очень сподручно.

Был еще бюст — из тесаного дерева, где Ленин был с рукой, в которой когда-то было перо, но Гомер случайно ленинский стилос обломил и потерял. Вид этого бюста был ужасен: он был, как говорил Семен, безнадёжно поюзан оглаживаниями и лоснился сальной темнотой в районе глаз, темечка, носа, рта и ушей от потных выделений рук Гомера, возлагавшего свои ладони в особо волнительные моменты. Семен цинично полагал, что заполированный обрубок хранит также и слюнявые следы многих Гомеровых лобызаний, но сам он такого не видел...

Гомер с неприятной слащавостью, будто умильная слюна его уже с трудом удерживалась во рту, рассусоливал о восхитительной форме ленинского черепа, такой холм с мыслью внутри, курган с сокровищем, гора с золотой жилой, да, скала самая настоящая с пещерой сокровищ! Одни шишечки на затылке чего стоят (это были места для вкручивания крепежа, кстати).

И он даже как-то пожалел, что не бывал в его руках настоящий ленинский череп. Семен этих откровений пугался. Но Гомер рассуждал дальше, неостановимо, это был его конек, что тело вождя он в каком-то смысле, высшем, конечно, «идеологически зрел» в Мавзолее, куда его однажды под руки вводили, так волновался, где он познал шевелящийся теплый материальный шар ленинской мысли, ощутимо ворочавшийся рядом с саркофагом. Но вот какая досада, к Институту мозга, где в сейфах хранятся срезы ленинского мыслительного аппарата, может подступиться только настоящий академик РАН. И этот Минц уже, конечно, все перетрогал в спецхране сотни раз! Вот что значит быть академиком и жить в спецдоме вблизи Института мозга. Несколько трамвайных остановок — и ты с мозгом в руках размышляешь себе.

— Вот Ленин, конечно, все не только видел, но и осознал — да! — заключил Гомер поток своих сетований. — Ленин все осознал, иначе как сам бы на такие мысли вышел...

Семен покрывался липкой испариной. Он оглядывал ближние предметы к Гомеру, ну, чтобы он к ножу или пресс-папье не дотянулся. А то при таких речах с человеком уже всякое может случиться или уже случилось.

Гомер рассуждал вслух, и Семен, тихо ушедший на кухню попить воды, слышал оттуда Гомеровы бреды:

— Что «да»? Владимир Ильич — не скала, конечно, — он просто плотина в ущелье человечества, едва паводок сдерживает. Семен, ты где?! И сейчас я прямо чувствую, — изрекал Гомер, глядя на вернувшегося Семена под нехорошим углом, — как гудят турбины в его глубине. Мегаватты мысли срываются с необозримых высот, чтобы вырабатывать ток, потребный новым мыслителям, то есть нам с тобой, Семен!

И он говорил в угол комнаты, туда, где труба отопления делала сложный изгиб.

— Как он работает, мозг вождя, ведь это — мировое гудение. Что бы делал пролетариат без такого мозга?! Это же мозг мозга, сила сил! Гора гор, паводок паводков!!!

Семен таращился, внимая потоку льющейся бессмыслицы.

Он завершит статью, посвященную окончательной критике югославских оппортунистов, допускавших на современном этапе элементы частной собственности, правда, мелкой. Все идеи были почерпнуты из реферативных сборников. Гомер мастерски добавил только инвективы в дикции чудовищных погромов. Назавтра вся Югославия как рассадник ренегатства должна была быть если не разбомблена, то сожжена дотла и затоплена самими едкими веществами, чтобы исчезнуть навсегда.

Гомер говорил частенько:

— Ох и проницательный я! Ох я и проницаю — ведь уже немного мне осталось для последнего рывка. Лагерь разбит, амуниция готова. Монографии жду с печати — первый опыт всеобъемлющей критики ревизионизма! Это будет бомба, друг мой дорогой, ой какая бомба. От них не останется ничего. Убогие ревизионисты! Никчемные умишки! Замахнулись на скалу! Это же вертикаль! Как мне смешно! Я просто смеюсь! До слез!

И он трогал ленинские выпуклости, где подразумевались глаза, может быть, ожидая мироточения.

Из Гомера иной раз вырывалось:

— Уверен, на все сто уверен, — и он просто хлопал ладонями, будто аплодируя своему наитию, — Минц, так тот осязал. Как мне сутки не есть! Осязал он!..

Аспирант знал, что Гомер подразумевал осязание академиком Минцем в секретном отделе-сейфе Института мозга самого святого на планете — препаратов ленинского мозга, посеченного на тысячу тощих ветчинных ломтей.

Это было порой чудовищно.

Гомер переживал глубокую досаду — ни тебе черепа, ни тебе мозга, — есть от чего упасть в меланхолию.

Он писал письма во Всесоюзное общество слепых, прося протекции, что не сможет разгласить тайны, ведь будет всего лишь смиренно осязать стеклянный препарат, бывший когда-то Ильичом, и ему, как члену КПСС, можно доверять, но обнадеживающего ответа он не получил. Тексты были однообразны: вопрос не нашей компетенции, товарищ! Обращайтесь в Орготдел самого ЦК. Из Орготдела писали на спецбланках, что правила изменить не могут, установленные Решением ВЦСПС от 22.01.1926 г. И они ну совершенно бессильны в этом вопросе. С коммунистическим приветом, естественно.

Привет из такой инстанции его вдохновлял.

— Да я все свои силы положу на борьбу, — говорил он и возлагал на бюст ладонь, что-то вроде липкой ермолки на холодную маленькую лысину главного безбожника.

Так как Гомер, сколько себя помнил, буквально сосуществовал с Лениным в тактильном сожительстве, настолько близком, что, покидая свой дом с бюстами, чувствовал тревожное одиночество, и он искренне мечтал о карманных четках, таких снизанных в бусы десятков трех микробюстов мыслителя всех времен и народов; леску-нулевку вполне можно было бы пропускать через ушные раковины, чтобы не задеть лица гения. Эх, кто

бы в нашей легкой промышленности взялся! Ведь всего ничего — отливка из легкого сплава, его ведь у нас завались, или на худой конец из пластмассы да сквозной прокол отверстия! А ведь раскупили бы мгновенно! Мы ведь многомиллионная страна ленинцев! В очередь стали бы. В очередь до самого горного горизонта. А братские страны соцлагеря! Это ж на миллиард надо считать!

Он глубоко сожалел и досадовал, рассуждая с Семеном, что еще никем не придуман для ленинизма всеобъемлющий мировой символ, по силе и емкости равный религиозному кресту.

«Но Ильич скончался не на кресте, а в пролежневой койке, так что символ должен быть иным — что-то вроде низки крохотных суден и уток, например. Утка-судно, утка-судно, и так раз пятьдесят», — но это были мысли аспиранта, наслушавшегося до рвоты Гомеровых бредней о четках, и он их никому никогда даже по пьяни не высказывал.

— А действительно, — какой есть всеобъемлющий символ для Ильича? — продолжал, вопрошая пространство, Гомер, уставившись сослепу на пятирожковую люстру, где была вкручена одна-единственная сороковаттка...

И он мыслил вслух безотносительными категориями и символами, как настоящий философ, не соприкасаясь со зрелищем, так как был глубоко слеп:

— Бюст Ильича в каждый дом? Пятиконечная звезда? Серп и молот? Шалаш? Мавзолей? Но в них не отражена его личность, преобразившая мир! Ни в малейшей степени!

Одно время Гомер хотел для широкого обсуждения предложить желудь, понятный народу как по виду, так и на ощупь. И тебе гладкий околлоплодник, символически равный черепу мыслителя, да еще головной убор — плюска-бескозырка.

Ведь из желудя вырастает несокрушимый тысячелетний дуб, сам несущий в мир мириады желудей. Но тогда Ленин делался как бы преуменьшенным, каким-то зернышком. А он ведь взорвал мир! В самом деле взорвал. Буквально, как атомная бомба, но принесся колоссальную пользу — просто

мегатонны пользы. Люди же так счастливы в СССР и странах соцлагеря!

Аспирант Семен, изображая серьезность, предложил объединить символы: желудя и бомбы. Гомер задумался и обреченно сказал, что хорошо бы посоветоваться в ЦК. Наверное, такое серьезное предложение смог бы рассмотреть сам Орготдел. А уж потом обсудил со всех сторон очередной съезд. Он бы с удовольствием сам делегатам все и доложил.

— Жаль, что сейчас членкорам не делают спецмундиров с лампасами, — но этого вслух он не сказал, а аспирант подумал.

Он тоже порой проницал Гомера.

Гомер говорил в минуты благодати:

— Я слышал от проверенных товарищей, что есть ленинские стенограммы, и их довольно много. Несколько коробок прямо засекреченных. Надежда Константиновна, когда Владимир Ильич очень уставал под вечер и писать был уже не в силах, застенографировала за ним буквально все подряд, что вождь ни скажет. Так там просто поразительной силы идеи! Такие новаторские, что просто рано еще их нам давать — не сможем впитать удивительной новизны мысли, просто все такое новое, что и понять пока еще не можем, но ЦК-то наш ждет-дожидается урочного часа, анализирует, чтобы вкинуть в нужный момент в самую гущу масс через свой орган «Правду».

Гомер благодно продолжал свои фантазии:

— Страшно подумать, но ведь предвидел все Ильич-то наш. На все имел свой единственно верный ответ. Как рано он ушел, а мог бы ведь жить, жить и жить. Разве непьющему, негуляющему мужику полтинник срок? Хорошо, что у нас хоть есть заветы. Это ведь такое везение для всей нашей страны и вообще планеты! Страшно представить, как бы мы были без заветов?!

Аспирант мистически опасался полного имени Гомера — ведь тот звался Кажубей Марцелиевич. И от этого словосочетания веяло неизъяснимой тоской древнего времени, поглотившего своей бездной миллионы.

Семену иногда становилось себя чрезвычайно жалко. На него обрушивалось неприятное зрелище, как будто он засекал самого себя в Гомеровом жилище за не-деликатными занятиями. Просто вот вошел в туфлях на микропоре тихонько, не поздоровавшись, и сам себя и увидал. Фу-ты, прямо ерунда какая!

— Защищусь — и тени моей тут не будет, тени, — твердил он нервно про себя, с испугом почувствовав, что воздух испортил не только очень сильно, но и чересчур зычно.

— Ничего не передвигай, Степан, слышишь! Обыщусь же потом, — провозгласил раздраженно Гомер Семеновым метеорам, будто еще, помимо самого Семена, кто-то зычно попортил воздух.

Но до защиты ему было еще далеко. Он очень боялся возможного оппонента — Холodka, тот мог нарыть проблем, будучи диалектиком и корнесловом, а все гомеровское читал полной туфтой, но не говорил об этом вслух, конечно.

Гомер тоже пугал впечатлительного Семена, вдохновенно рассказывая о зрелище слепоты, зовя его настойчиво в такие минуты Степаном. Он, задирая к потолку лицо, впадал в темное магическое забытие и вещал, жутко обзывая Семена Степаном:

— Тьма не тьма там, Степа, а вся тебе мгла прямо с проблеском! Искрит в моей голове! Красота такая-растакая, разлюбезный ты мой Степа-Степашка паренек!

Он смолкал, вслушиваясь в недоуменно засопевшего Семена, и, словно проясняя, размеренно заключал:

— Зато я слышу каждый шаг в сторону нашей генеральной линии восхождения. Звонко слышу, дядя Степа, будто посуду бьют об пол. Это-то я различу получше всех твоих хваленых зрящих товарищей, любезный ты мой Степан Степаныч, понимаешь. Ты это, дядя, учитывай, учитывай.

Тот от не своего имени и титула «дяди», произнесенного вслух Гомером, непроизвольно вздрагивал, будто у Гомера завелся еще и Степа-Степан, аспирант-конкурент, серьезный такой дядя, на Семена похожий.

И Семен хорошо усвоил, что слепота — это такой разгорающийся огонь, бегущий всполохами по всей тлеющей головне Гомерово-идиотической речи.

Семен не мог отказать себе в невинных радостях. И, сидя рядом с профессором, он бесконечно чесал за ухом от тоски, как кот, только что не слюнявил ладонь. Он принимал всякие расслабленные позы, когда речь Гомера требовала от него напряжения и соучастия, — вытягивал стопы, скрещивал голени, закидывал их бантом чуть ли не к физиономии, спускал носки и растирал круговую вмятинку от резинки.

Он успевал под самозабвенные излияния Гомера, испускавшего из себя идеологическую бессмыслицу, как парикмахерский пульверизатор, сходить в туалет с поговор-

кой «Сколько **** ни трясись, последняя капля в трусы попадет», посмотреться по пути в мутное зеркало, стрельнуть светлой мерзостью из прыщика в свое отражение, приостановившись, несколько зловредно пустить «борей», пригладить волосы или романтично взбить их коком, зевнуть и опять потянуться до ломоты и незаметно еще раз отойти от все говорившего и говорившего Гомера и смачно сплюнуть в порыжевший до черноты унитаз.

На сортирном косяке топорщилась стопка рванных в клочья центральных газет, пробитая гвоздем, как магазинные чеки, да и Семен полюбил низать портреты классиков, членов политбюро или титульные ордена, осеняющие газеты, и сами выданные названия — центральные: «Правда», «Известия», «Советская Россия», областные: «Коммунист» и «Заря молодежи».

Игорь Ваньков

Самонаводящиеся ракеты



МЁРТВЫЙ СПОРТ виктор богданов
расцветает в снежной яме
нижнебычинского кладбища
николай бычин трогает мою душу
тем, что он тоже там расцветает
нижнее бычина стоит и не двигается
в ярости наста; ярость этой деревни
закljučается в том, что сон здесь
нельзя нарушить; фонари в этот
момент намокают под пеплом
снежного наркоза; освещают
снежный грунт мраком гирлянды
собаки сцеплены бурым сцеплением,
похожим на липкий корпус дневного
света; собаки сцеплены бурым сцеплением,
похожим на липкий корпус дневного
света; в банях деревни бычина пьют воду

из бака, лыжня напоминает
несобранные в себе бани; сам
бог освещает сахарную пломбу
местности где каждый огород
стоит без подсветки виктор богданов
герой нашего рассказа убился на
мотоцикле николай
бычин был найден мёртвым моей
бабушкой, попрятавшись в стол;
трогает мою душу тем, что он тоже
там расцветает; все они похоронены
в деревне нижнее бычина; все они
похоронены в деревне нижнее
бычина у каждого жителя есть
собор человеческой души его
также называют чёрным выключателем,
лыжи в бычина — это всегда мёртвый спорт

деревня Пальники с подсветкой;
не дружит с голодом — глазеть
не может день глазами в сетку,
глазами в свет;
и просит дать открыть вина,
и просит дверь открыть в Рязань:
вонючий папоротник свис —
дырявый свист;

ТЕЛЕГИД, тромб оторванный в сугробе,
горьким мылом навредит;
это конь, отставший в поле
мне включает телегид;
это слон, стоящий в сквере
разверни себя, как плащ
на экране в будке звери
только пляшут; только пляшут;
только делают касатку;
только мажут на кадык
мазь окурков; и расстраивают
души вымерших;

«стервятник кружил,
выжидая вечность,
раз за разом
как и гора»

Джон Бёрджер

___VULTURE___

подвида-вида-разных-вида-раз
горячая, люфтуя вся труба;
парируя надрубленным крылом
ромб молча наблюдает птичью бровь,
рок ставит птицу в горы-горы рук,
граната у птенцов не на боку,
нашейный ускользает с виду люфт,
зверей оберегает раз могильщик
зверей оберегает два могильщик
зверей оберегает три могильщик

САМОНАВОДЯЩИЕСЯ РАКЕТЫ-3

Макнул в тарелку — матюкнулся
разбавил мятное, что прожевал — разбился
мятою, как ожидал
покрыты лаком все ракеты,
(на белом светятся-насвистывают-липнут)
(на белом светятся-насвистывают-липнут)
на белом освещают лямку
моей трамвайщицы-жены
пока все живы — покажи
коленчатый валун, как постриг
«излеченный в боку — не станет особью»
не станет клоном лёд покачивать
пока ракеты разгораются-сменяются
пока коленки, мать моя, куку
небом освистанным-больничным,
припорошенные... — свистят ракеты,
руды подзуживает посох-сох

АНДРЕЙ

Андрей стоит во тьме, как мама отрешен
Закатывал скандал на шортах, — в маме
Скамейкам-выброс-из-окна, кликушам —
шарик

И фонари не снаряжаются — наращивают
Наращивают кладезь, роспуск-седи
Обрушивают карту вопля, пол-сивок
/Фонарь сквозной булавкой в небо-колется/
и с небом шевелит дистанцию
дрожащих станций

ДОЧЬ

Градива парится в предбаннике,
но там один лишь холод, сон,
и контурная карта.
Но там: лишь табель головы сверкает в
каске,
к себе ссыпается посылкой/ для
к себе ссыпается посылкой/ для
для этой дочери

*Градива отзвонилась маме клона
 *Градива голосуй за каплю масла
 *Градива — адрес основного шлюза,
 Спино
 й слежалась
 Спиной слежалась,
 отразилась
 зил

РАНА

Гортань /окуклилась — во рту весь

Весь/ пережёванный вагон,

Тóпи

Мне топь преследует — не-дело.

Расквартировывает ложки-щи.

Расквартировывает морду-чит.

И забегает, как вперёд:

Стоящий — с толком, с расстановкой — код

Стоящий — с дулом, с кодировкой — полк

Висящий — с тачкой, с молотьюбой — весь-отблеск

ФАРТУК

1. Я ехал тело разбудить — поехал тело-разбежаться, Отец пишу письмо, я встал: в шестнадцать-двадцать (огребается-и-знает) развил свидание с муштрой, и с матерью такие встречи, что совесть ропщет — мне в окно, но стык священен — но и, но и колотится мотор, оглаской сыплется мотор-ка-к=мото-рак 2. ...по реке; лекарством булькает Десятка на кульке, Пираньи морщатся от вида — мужчины сильного 3. А окунь знает, что скамейка липкая, когда разделявали Его, И матричное око, на жаберную спальню перьев, Подушек тихий академик — slim, меняется с собой местами Тонкий сон, и высыхает только телосок... И облицует-мой кирпичный день горячей дула-солнца ...и тем, что ходит; И перекладывает силос, как баланс, локтем сносимых розовых деталей Малыша — один-сужается... и разговаривает с мастью опыленья толь Подзуживает только кофр - подзуживает только кофр, Да — форточный-фартовый-фартук — складывается

ОТВЕРСТИЯ-SAVE

...отверстия, мешок размашки малыша; висок; Я — шрам, раз дали, значит не берите Побуждаю
я (...приветствия, листок, замотан на полбалки...) Геном черёмух, вросших=переросших
бурок, но мокнут...Не, трезвеющих...но мокнут (...от парцелляции десны все сны не гасятся...)
но слух приоткрывает шум; Я шут, а-а-а: и шикает крапива: червива-сном, На шортах недвес
наклейки, Липкий багажник Я, с бутылкой лимонада ...отверстия, мешок размашки малыша;
висок — стихотворение, которое всё, сохнет — стоит на всём/
Заглавием погони — а чего я Хлипок?

ЛИТРАЖ

Эхо кодировк-ой-разнеслось; Коричневое эхо, как клубок — ноет, А хлам-перебирается в саду
на трубы; Кодированный брат шевелит губы: «Я станцию хрипел, пока все вы-к Сивок цедили
лазерной указкой, Пока раз-бивень не точили мыслью, Я тело распилил, и стал, как Лествица»
«Я хлеба-обогнул такой моток-р, Что рвань перевелась на этом поприще-к; И стороны разбились
на гарпун-пункт-плуг, Как цельные иконы воздух-хитрый»/А, литраж; Таким-пиловочным-мой
брат-рос-рок; На терапии — спелео, обрёл — пиловочник; На терапии — храбрый, обретает
россыпь, И говорящих аистов родителя

Виталий Кропман

Возвращение в Шварценберг



Меня разбудило удивительное ощущение тишины. Казалось, что из обычной звуковой палитры городка, проникающей в расположенное ниже уровня земли окно моей тайной кельи, удалили какую-то басовую ноту. И её отсутствие было столь заметно, что привычные звуки — плохо различимые голоса людей, лай собак, шум весеннего дождя, монотонное завывание ветра — еле пробивались наружу, словно укутанные в толстый слой ваты.

Вдруг стало понятно, что в эти дни последнего месяца весны 1945 года именно она и была главной в жизни Шварценберга — небольшого города у подножья Рудных гор. А ещё возникло ощущение, что исчезновение этой ноты означает завершение продолжавшегося более шести лет очень страшного

этапа моей пока ещё совсем короткой жизни. Впереди была неизвестность, но страха больше не было...

Глава 1. Маркус Фишер. Неожиданная встреча

Меня разбудили раздавшиеся за дверью голоса. Один из них я узнал сразу. Он принадлежал Ашуру — медбрату-сирийцу из числа беженцев, добродушному гиганту, с которым я познакомился в первый день, когда попал в гериатрическую клинику на реабилитацию после операции: угораздило же накануне своего девяностолетия упасть, выбираясь из ванны, и сломать шейку бедра. Мой врач, любезнейший доктор Альтмайер, который,

как мне кажется, знает обо мне больше, чем я сам, не раз предупреждал: «Для вашего возраста у вас прекрасная память и всё ещё острый ум, господин Фишер, но любые движения стоит выполнять аккуратнее — кости уже не такие прочные, как в молодости».

Первые несколько дней, когда мне было тяжело что-то делать самому, Ашур заботился обо мне, словно вторая мать, помогая везде и во всём. И сейчас, слыша этот голос в коридоре, я легко представляю себе его обладателя: вытянутое овальное лицо, коротко остриженную тёмную бороду, такого же цвета волосы, хотя после пережитого стресса он начал понемногу лысеть, прямой, тонкий нос и большие карие глаза, в которых, кажется, никогда не гаснет лёгкая улыбка. Его немецкий язык пока ещё сложно назвать по-настоящему немецким, но вполне приличный английским, постоянная готовность помочь и поразительная открытость сводят языковую проблему на нет.

За те дни, что я уже нахожусь в этой больнице, Ашур успел рассказать мне свою нехитрую, но довольно грустную историю. Врач-хирург, получивший образование в Европе, он вынужден был бежать из Алеппо, когда в городе, который правительственные войска и повстанцы разрушали и с земли, и с воздуха, жить стало абсолютно невозможно. И каждый раз, когда он возвращался к тем дням, в его голосе звучала с трудом скрываемая боль: «Я до последнего момента убеждал себя, что должен оставаться там, что мой долг врача оперировать, помогать людям, оказавшимся в нечеловеческих условиях. И работал до тех пор, пока однажды не осознал, что уже никого не смогу там спасти. Но при первой возможности я вернусь. Надеюсь, что ещё смогу вам показать мой прекрасный Алеппо».

Путь в Германию Ашур вспоминать не любит. Но оказалось, что преодолеть тысячи километров и десяток границ куда проще, чем убедить немецких бюрократов, что он имеет право, а главное, хочет и может работать врачом. И Ашур, чтобы остаться в медицине, вынужден был для начала пойти учиться на медбрата. «Немецкие чиновники, господин Фишер, не видят в беженцах людей, которые нуждаются в помощи. Мы для них

только статистические единицы — нахлебники и источник головной боли. Им куда проще платить беженцам пособие, чем приложить хоть какие-то усилия для нашей интеграции. В первом городке, в котором я оказался, попав в Германию, моим куратором в ведомстве по делам иностранцев была фрау Кроль. Сама иностранка, вышедшая замуж за немца, она сидела там много лет и своих вынужденных клиентов не любила. Помнится, я принёс ей мой диплом, полученный в университете Будапешта, и спросил, что нужно сделать, чтобы работать в Германии по специальности. Она брезгливо отбросила его мне и сказала: «Запомните, врачом, а тем более хирургом, вы здесь никогда не будете». Так что если мы и добиваемся чего-то в сегодняшней Германии, то не благодаря, а вопреки», — сказал он во время одной из наших полуночных бесед.

Дверь в палату открылась. Ашур вкатил в комнату кресло-каталку, на которой, буквально сжавшись в комок, сидел пожилой мужчина с остановившимся и очень испуганным взглядом.

— Добрый день, господин Фишер. Как вы себя сегодня чувствуете? — улыбнулся Ашур. — А это ваш новый сосед, господин Мюллер. Проблем с ним у вас не будет: он уже давно живёт в мире, который существует только в его сознании. Хотя иногда, пусть и очень ненадолго, возвращается.

Ашур без видимых усилий переложил нового соседа на кровать, пожелал мне хорошего дня, и мы остались вдвоём. Чуть высунувшись из-под одеяла, словно из-за крепостной стены, Мюллер напряжённо осматривался по сторонам. Его замороженный взгляд медленно оттаивал, становясь менее испуганным и чуть более осознанным. Он скользил по выкрашенным в персиковые тона стенам, светлому потолку, широкому, панорамному окну, за которым был виден лес, плотной зелёной ширмой отделявший клинику от живущего своей жизнью города. Ковровое, в тон стенам, покрытие скрадывало звук шагов. Журнальный столик, два плетёных лёгких кресла, зеркало над умывальником и небольшой телевизор на стене перед каждой кроватью — вот и вся обстановка.

— Как мы работаем сегодня, так мы будем жить завтра! — вдруг отчётливо произнёс Мюллер. — В центре всегда стоит человек! Всё для народа, всё вместе с народом, всё благодаря народу!

Он возбудился, покраснел, стал размахивать руками. Речь его постепенно вновь стала несвязной, он то бормотал отдельные слова, то выкрикивал лозунги, популярные во времена ГДР. Потом неожиданно затих, успокоился, посмотрел вокруг, как показалось, совершенно осознанным взглядом и неожиданно строгим следовательским голосом обрушил на меня водопад вопросов:

— Я где-то вас точно видел. Кто вы такой? Как вас зовут? Мы с вами раньше не встречались?

И, не дождавшись ответа, словно моментально потеряв ко мне какой-либо интерес, отвернулся к окну и затих. Несколько минут спустя я услышал его ровное, сонное дыхание, прерывающееся громкими и продолжительными всхрапами.

Отличие от Мюллера, я, пусть и не сразу, узнал его. И теперь, глядя на это безвольное тело, исхудавшие кисти рук, выглядывающие из рукавов мягкой сорочки, скорее похожей на женскую ночную рубашку, лысый бугристый череп, обтянутый кожей, усеянной стариковскими пятнами, изрезанное морщинами лицо, тонкие, почти прозрачные ноги, прислушиваясь к его дыханию, я не чувствовал ни страха, ни ненависти, ни желания отомстить. В человеке, оказавшемся на соседней кровати, ровным счётом ничего не осталось от того, кто перепачкал мою жизнь более тридцати лет назад...

Глава 2. Пауль Фишер. Дорога в Больтенхаген

Меня разбудило предчувствие. Эта способность почувствовать то, что произойдёт в ближайшие минуты, остро развивается в тюрьме. Когда ты ещё не слышишь даже стука сапог тюремщика, скрадываемых светло-коричневым линолеумом, расчерченным весёлыми кружочками, похожими на малень-

кое, улыбающееся солнце, но точно знаешь, что очень скоро придут именно за тобой. Что буквально вот-вот на мгновение мелькнёт свет посреди двери, когда конвойный солдат сдвинет в сторону крышку волчка, чтобы посмотреть, что происходит в камере. В этот момент ты в глубине души ещё надеешься, что предчувствие тебя обмануло, что конвойный просто передёрнет с металлическим лязгом засов или стукнет дверцей кормушки — это ночное развлечение входит в обязательную программу охранников, призванных держать «врагов трудового народа» в постоянном напряжении.

В оригинальных методах психологического истязания подследственных «Штази» наверняка может считаться чемпионом мира. И действительно, зачем сбивать в кровь кулаки, выбивая признание, когда можно просто не давать подследственному спать несколько суток подряд? Рано или поздно к человеку приходит осознание своей полной беспомощности, а желание прекратить бесконечную пытку оказывается сильнее инстинкта самосохранения.

В этот раз моей надежде не суждено оправдаться. С противным скрежетом проворачивается ключ в замке камеры, открывается дверь, и на пороге вырастает конвоир: «Номер 125. На допрос».

«Номер 125» — это я. Ещё несколько дней назад меня звали Пауль Фишер. У меня была маленькая квартира в Дрездене в старом трёхэтажном доме, выходящем окнами на Эльбу. На первом этаже располагалась булочная «Симанк». И летним утром сквозь открытые окна в квартиру вливался удивительный коктейль, в котором аромат речной воды, пропитанный дымом идущих по ней туристических корабликов, причудливо смешивался с букетом улицы, где выхлопные газы редких автомобилей добавляли горькую нотку в сладковатый тёплый запах свежее испечённого хлеба и горячего шоколада...

...Ещё недавно у меня была своя квартира в Дрездене, а теперь есть только одиночная камера примерно в семь квадратных метров в следственной тюрьме «Штази». А где, в каком городе она расположена, мне не суж-

дено узнать никогда. Может быть, в Берлине, а может, в Дрездене или Карл-Маркс-Штадте. Или в любом другом городе — у «Штази» таких тюрем полтора десятка.

С момента моего задержания я не видел ни одной улицы — только стены, только закрытые пространства. В моей камере есть даже большое окно, которое может обмануть, но только в первый день. Сложенное из специальных стеклоблоков, оно позволяет следить только за сменой дня и ночи. Ночью, если нет допроса, можно даже поспать на жёсткой, грубо сбитой деревянной кровати, которую не делает мягче тонкий пенковый матрас. Но спать разрешается только на спине, положив обе руки поверх такого же тонкого, как матрас, одеяла. За выполнением этого правила по ночам тоже следят охранники. А ещё в камере есть обычный унитаз и умывальник да высокий деревянный стол...

...Летом в «Симанке» на улицу выставляли столики, и в выходной день можно было не спеша наблюдать за причудливой чехардой солнечных зайчиков на зелёной воде Эльбы, смакуя кофе и наслаждаясь вкусом фирменного, изготовленного по старинному рецепту творожного торта. А потом, двигаясь по течению реки и подставляя лицо солнцу, совершить традиционную прогулку по набережной, отделённой от воды узкой полоской зелёной травы. Идти только вперёд и вперёд, пока из-за изгиба Эльбы не появятся вдаль словно летящие по воздуху кружева моста «Голубое чудо».

Он, словно гигантский магнит, раз за разом притягивает меня к себе. Особенно интересно смотреть на него летним вечером, сразу после захода солнца. Когда в спокойных водах Эльбы отражается багровый свет уходящего дня и подсвеченная многочисленными огнями, ажурная, прозрачная, наполненная воздухом конструкция моста.

«Голубое чудо» было для меня символом свободы. И не только свободы инженерной мысли. Мечта когда-нибудь построить какое-то своё «Голубое чудо» привела меня в Технический университет Дрездена, окончив который, я получил направление на авиастроительный завод...

...Резкая сирена разорвала почти глухую тишину окрашенного в светло-серые тона коридора, где единственным звуком до этого был стук сапог конвоира. Мои шаги в мягких тапочках, вместе с синей робой входящих в гардероб заключённого, были почти не слышны на линолеуме. Вместе с сиреной коридор озарился красным тревожным светом вспыхнувших под потолком ламп. Значит, где-то конвойный ведёт другого подследственного, а не в правилах «Штази», чтобы враги трудового народа видели друг друга, даже если они проходят по разным, никак не связанным между собой делам.

— Остановиться, — командует конвойный. — Лицом к стене, глаза в пол.

Из всех охранников, с которыми мне довелось здесь сталкиваться, этот вовсе не самый злобный. Он, конечно, тоже порой жестковато ведёт себя с арестантами. Жёстко, но не бесчеловечно, как некоторые. Но ведь не только Устав караульной службы определяет, как человеку делать свою работу...

...Ещё недавно работа была и у меня. И я до мелочей, до отдельного слова и мгновения помню день, полностью изменивший мою жизнь. День, когда моя судьба заложила крутой вираж, который, в конечном счёте, и привёл меня в эту камеру.

День был обычный, ранневесенний, хотя в наших краях зима скорее исключение, чем правило. Но природу не обманешь, и она, почувствовав освобождение от редких холодов, раскрывалась навстречу людям, обогревая их лучами первого мартовского солнца. И настроение, с которым я пришёл на работу, было под стать погоде: улыбнулся фрау Марте на проходной, обсудил с коллегами за чашкой утреннего кофе вчерашний матч «Динамо»: наши обыграли лейпцигский «Локомотив». Словом, начинался день, каких в году сотни, и даже вызов к начальнику цеха не заставил меня насторожиться.

Небольшой кабинет, в котором из мебели были лишь стоящий буквой «Т» стол для совещаний и несколько стульев вокруг него, а также два шкафа, забитых папками под завязку, был явно тесен для Адама Новака: почти двухметрового гиганта с пудовыми ку-

лаками и центнером тренированных мышц. Правда, при всей своей устрашающей внешности Адам был добродушнейший человек, который никогда не повышал голос и даже подчинённых разносил с улыбкой.

Новак знал в нашем цеху каждый винтик и всегда был готов прийти на помощь подчинённым, если у них что-то не получалось. У нас с ним сложились прекрасные отношения, хотя, подтрунивая надо мной, он любил повторять: «Во всем виноват Фишер». Вначале я обижался и однажды, услышав его традиционную присказку, когда на линии возникли очередные проблемы, потребовавшие вмешательства начальника цеха, решил возразить. «Товарищ Новак, при чём тут я? Меня в этот момент здесь даже не было». — «И в этом тоже виноват», — улыбнулся Новак.

Но в этот раз начальник был серьёзен.

— Садись, Пауль, — сказал он, и я впервые не увидел его столь привычной улыбки.

— Я постою, товарищ Новак. Что-то случилось? Вроде, грехов за мной нет, — попытался ещё пошутить я, надеясь вернуть общение в привычное русло.

Но не получилось.

— Как хочешь. Разговор будет короткий, хотя и тебе, и мне совсем неприятный.

— Слушаю вас.

— Значит так... С завтрашнего дня ты не можешь более работать в нашем цеху. У меня к тебе никаких серьёзных претензий нет, но мы начинаем подготовку к выпуску нового изделия, уровень секретности — высший. А у «Штази», как я понял, неожиданно появились вопросы к тебе. Об увольнении речь пока не идёт. Но я получил распоряжение перевести тебя в инструментальный цех.

— Но что мне, инженеру-конструктору, делать в инструментальном?

— Уверен, тебе объяснят.

Адам тяжело поднялся с кресла, обошёл стол и протянул мне руку, вполне потянувшую бы на лопасть весла, давая понять, что разговор окончен.

— Ещё раз — ничего личного, Пауль. И ещё одно... Не ходи ты к Майеру, не ищи правды. Он хоть и отвечает за наш завод по линии «Штази», но решение по тебе явно при-

нималось не в его кабинете. Помочь себе ты не сможешь, а вот усугубить ситуацию — за просто.

Я пожал ему руку и вышел из кабинета. Спустился в курилку, где, на моё счастье, в этот час никого не оказалось, прислонился к стене, вытащил из кармана сигарету с коротким фильтром, чиркнул спичкой, вдохнул первую порцию горького дыма. После третьей затяжки туман, клубившийся у меня в голове, постепенно начал рассеиваться, и я задумался о том, что делать дальше.

Страх, и я это хорошо помню, на удивление не было: наверное, потому что никакой вины за собой ровным счётом не знал и не чувствовал. Новак, конечно, прав: у Майера правду не найдёшь, но идти к нему надо. И прямо сейчас. Надо же узнать, какие ко мне претензии, решил я.

Прикурил от первой вторую сигарету, чего никогда не делал, и постарался расслабиться: нельзя показывать Майеру, что я взволнован произошедшим, что беспокоюсь о завтрашнем дне. Если показал врагу слабость духа, то проиграл, даже не вступив в поединок, учил меня отец.

Кабинет представителя «Штази» на заводе находился на втором этаже заводоуправления. Я постоял несколько секунд в сторонке, собираясь с духом и одновременно ожидая, чтобы в коридоре не было людей. Потом резко выдохнул, успокаивая и выравнивая дыхание, и постучал в дверь.

— Войдите, — раздался скрипучий голос, и я шагнул за порог.

Кабинет Манфреда Майера на первый взгляд почти не отличался от того, где сидел Новак. Разве что рядом с обязательным портретом Эриха Хонеккера ещё висела фотография министра госбезопасности Эриха Мильке. Я никогда не видел Майера вблизи. Дребезжащий голос, похожий на старческий, казалось, не мог принадлежать сидящему передо мной крепкому мужчине лет пятидесяти. А весь его облик удивительно не соответствовал человеку, олицетворяющему собой «щит и меч партии» И только короткая, аккуратная, армейская стрижка и холодные глаза выдавали в нём кадрового офицера «Штази».

Если Майер и удивился моему появлению — в этот кабинет по собственной инициативе вряд ли кто заходил, — то вида не подал

— Добрый день, товарищ Майер. Меня зовут Фишер. Пауль Фишер. Я инженер, работаю во втором сборочном цехе. Вернее, работал до сегодняшнего дня. Сегодня меня вызвал начальник цеха, товарищ Новак, сообщил, что ко мне возникли вопросы по линии министерства безопасности и решено перевести меня в инструментальный цех. Я за собой никакой вины перед государством не знаю и считаю это решение несправедливым. Если это возможно, прошу вас объяснить причину такого шага.

— Как, вы сказали, вас зовут, товарищ? Пауль Фишер?

Он подошёл к массивному сейфу, вытащил одну из папок, перелистнул несколько страниц, закрыл её, убрал обратно в сейф, вернулся в кресло и лишь потом снова поднял глаза на меня.

— А знаете, как мы поступим, товарищ Фишер? Сегодня пятница, а разговор нам предстоит долгий. Так что давайте перенесём его на понедельник. Как говорят наши советские товарищи: «Утро вечера мудренее». Хороших вам выходных. Отдохните как следует, и часов в девять утра в понедельник жду вас здесь. Не смею вас больше задерживать — пока свободны.

Это был первый случай, когда я столкнулся со «Штази» лицом к лицу и на себе почувствовал их методы психологического воздействия.

В понедельник в девять утра я снова постучал в дверь Майера. Ответом была тишина. Он появился спустя минут сорок, а за это время я успел выяснить и запомнить, что длина коридора заводоуправления равняется 58 моим шагам, а ширина — восьмью с половиной, что на потолке в правом углу отвалился кусочек штукатурки, а на линолеуме в отдельных местах вздулись пузыри.

— Товарищ Фишер, здравствуйте. Давно меня ждёте? — Майер неожиданно вырос у меня за спиной, когда я наматывал очередной круг по коридору. — Дайте мне ещё минут десять и заходите.

Когда я зашёл в кабинет, Майер уже сидел за столом. Он посмотрел на меня, казалось бы, даже добродушно, но ничего хорошего его взгляд не предвещал. Впрочем, я ни на что особо не надеялся.

Майер достал из лежащей перед ним на столе папки листок бумаги, пробежал его глазами, потом снова перевёл взгляд на меня, так и стоящего у двери, — сесть он мне не предложил.

— Почему вы пытались обмануть страну и партию, Фишер? — наконец спросил Майер, и улыбка мгновенно исчезла с его лица.

— Я не понимаю, о чём вы говорите.

— Вот копия анкеты, заполненной вашей рукой при поступлении в Технический университет Дрездена. В ней вы сообщили, что не имеете родственников за границей.

— Совершенно верно, у меня их нет.

— Правильно ли я понимаю, что вашего отца зовут Маркус? Маркус Фишер?

— Абсолютно верно. Известный журналист и писатель Маркус Фишер — это мой отец.

— А знаете ли вы, что он до 1960 года состоял в переписке с двоюродным дядей, проживающим в США?

— Впервые слышу это от вас. Родители моего отца были уничтожены нацистами, о каких-то наших родственниках за пределами ГДР он мне никогда не рассказывал. Подождите. Вы сказали — до 1960 года? А после этого какие-то контакты зафиксированы?

Майер снова заглянул в лежащую перед ним бумажку.

— Нет.

— Тогда при чём здесь я? Я в то время ещё пешком под стол ходил.

— Вы не заявили о родственниках в США, значит, пытались обмануть страну и партию. Вам нет доверия, а цех, где вы трудились до недавнего времени, переходит на выпуск продукции, имеющей для ГДР стратегическое значение. Вы там работать не можете.

— Товарищ Майер, но...

— Здесь больше не о чём говорить. Идите в инструментальный и работайте. И знаете: мы будем наблюдать за вами. И ещё: не советую вам жаловаться. Вы можете писать хоть товарищу Мильке, хоть самому товарищу

шу Эриху Хонеккеру. Это только создаст вам дополнительные проблемы. Свободны. Пока свободны.

Я вышел на крыльцо заводууправления. Машинально с кем-то поздоровался. Закурил и вдруг отчётливо понял, что для меня больше нет места в моей стране. В стране, где я родился. У немца, попавшего на крючок «Штази», в ГДР нет будущего...

...Моё же ближайшее будущее известно. Из мыслей меня вырывает голос конвойного.

— Стоять. Лицом к стене.

Он стучит в дверь и бодро рапортует:

— Товарищ майор, заключённый номер 125 по вашему приказу доставлен.

— Заводи.

Мы заходим в кабинет, который я уже успел рассмотреть во время предыдущих допросов. Он мало чем отличается от того, в котором на заводе сидел Майер, разве что шторами, прикрывающими зарешеченное окно, да отсутствием портретов на стене — видимо, товарищу Хонеккеру было бы здесь висеть неуютно. А так обстановка скучная: те же два стола, на том, за которым сидит следователь, лампа — я хорошо помню её жёлтый свет во время первого допроса, продолжавшегося, как мне тогда показалось, бесконечно. Ну, точно больше суток. В углу — низкий, неудобный табурет.

— Садитесь, номер 125, — указывает на него следователь. — Руки под себя ладонями вниз.

Следователю на вид лет сорок. Короткая стрижка и ранняя лысина превратили в почти идеальный эллипс его лицо. У него оттопыренные уши, как у летучей мыши из мультфильма, тонкий вытянутый нос, который он периодически тербит рукой, и пустые, водянистые, ничего не выражающие глаза. Лишь один раз, как мне показалось, в них мелькнул интерес к моей персоне, когда, зачитывая установочные данные, он дошёл до отца: «Отец — Маркус Фишер, 1928 года, родился в Ауэ». В тот момент майор оторвал глаза от листа и пристально посмотрел на меня, но через мгновение его взгляд снова потух.

Майору откровенно скучно. От меня ему нужно лишь письменное признание вины в попытке побега на Запад, и он понимает,

что рано или поздно я сломаюсь и соглашусь подписать протокол. Я это тоже понимаю, тем более все козыри у них в руках. Но мне спешить особо некуда: свои пять лет я получить всегда успею...

...У меня была своя квартира, работа и ещё старенькая «Шкода», подаренная мне отцом по случаю окончания университета. В тот последний день моей свободы она шустренько бежала из Дрездена в сторону Балтийского моря. Конечной целью был городок Больтенхаген. С одной стороны, это признанный в ГДР курорт, куда можно было приехать, не вызывая серьёзных подозрений, с другой — всего полтора десятка километров отделяло его от территориальных вод ФРГ. Полтора десятка километров до свободы.

В багажнике моей голубой с белым верхом «Шкоды», среди обычного багажа и среднестатистического курортника, лежала дополнительная автомобильная камера, мощный, хорошо заряженный аккумулятор, электродвигатель, вместительная герметичная капсула для него, несколько специально обработанных дощечек, из которых легко собирался небольшой гребной винт, деревянная платформа и моток крепкой верёвки. Собранные вместе, они превращались в сконструированное мною компактное, почти бесшумное плавсредство, с помощью которого я надеялся перебраться в другую Германию. Ходовые испытания конструкции, проведённые на небольшом безымянном лесном озере неподалёку от Пирны, показали, что она не только держится на воде, но может тихим ходом с одного заряда аккумулятора преодолеть примерно пятнадцать километров, что, по моим расчётам, вполне хватило бы, чтобы при определённом везении добраться до территориальных вод ФРГ.

Меня остановили поздним вечером на стационарном полицейском посту на выезде из городка Эгелов, неподалёку от Висмара. Когда до цели оставалось каких-то два десятка километров. И, как ни странно, я в тот момент совсем не почувствовал опасности: в конце концов, приграничный район, они проверяют все машины подряд. Я стоял вторым в очереди, сразу за мной расположился

небольшой забавный грузовичок марки «Баркас» с надписью «Цветы». Сидевший за рулём мужчина средних лет откровенно скучал.

Через несколько минут я подъехал к шлагбауму, опустил стекло, протянул полицейскому паспорт и документы на машину. Он внимательно изучил их, подсветив фонариком, затем направил луч света на меня.

— Товарищ Фишер, выйдите, пожалуйста, из автомобиля, откройте капот и багажник для проверки.

— Вы что-то ищете, офицер? — спросил я, стараясь улыбнуться.

— Ничего особенного. Рутинная проверка, не стоит волноваться. Что это у вас? — спросил он, вытаскивая из багажника резиновую камеру.

— Дополнительная камера, товарищ. Машина старая, а колёса ещё родные. Вот вожу на всякий случай.

— А этот аккумулятор вам зачем?

— Так по той же самой причине. Заглохнешь в чистом поле и дальше что?

— И куда вы направляетесь?

— Еду в отпуск, надеюсь снять комнату в Больтенхагене, возможно, ещё получится испуститься.

Неожиданно за моей спиной выросли два человека в штатском. Меня крепко взяли под локти. «Гражданин Фишер, вы задержаны», — сказал один из них. В тот же момент смешной грузовичок с нарисованными цветами резко сорвался с места. Через пару секунд он уже затормозил возле нас, дверца фургона открылась, меня закинули внутрь, ещё через мгновение я оказался запертым в маленьком металлическом стакане, щёлкнул замок, машина развернулась и стала набирать ход. В полной темноте бессмысленно было даже попытаться понять, куда меня зовут. Но можно было догадаться, что вряд ли в Больтенхаген...

Глава 3. Маркус Фишер. Гость из прошлого

Меня разбудил настойчивый телефонный звонок. Выбираясь из глубин сна, я поднял

трубку и услышал жёсткий, уверенный в себе голос человека, который не привык, чтобы ему возражали.

— Товарищ Маркус Фишер? Доброе утро. Меня зовут Андреас Мюллер. Я майор государственной безопасности. Нам необходимо с вами срочно встретиться.

— Здравствуйте, товарищ Мюллер. Не могли бы вы обозначить цель нашей встречи? У меня довольно плотный график и...

— Я в курсе вашего графика. Поэтому точно знаю, что как раз сегодня, в полдень, у вас есть два часа свободного времени. Что же касается предмета нашей беседы — это важно не столько для меня, сколько для вас. И ещё. Я бы не хотел официально вызывать вас в управление. Давайте встретимся где-нибудь на нейтральной территории. Знаете, например, «Маленькое кафе Унтер-ден-Линден»?

— Полагаю, вы знаете и то, что я там неоднократно бывал.

— Знаю. Подходите туда часам к двенадцати.

Я пришёл чуть раньше. Выбрал двухместный столик в углу зала, сел лицом ко входной двери, сделал заказ и осмотрелся. Зал был относительно пуст. Никто не сидел на высоких табуретах у оформленной под шахматную доску барной стойки, было занято лишь несколько круглых столиков. Судя по языковой разногласице, это были в основном иностранные туристы. В летние дни их всегда здесь довольно много.

Хотя формально кафе расположилось на окраине Восточного Берлина, оно было очень популярно. С уличных столиков хорошо просматривалась Берлинская стена и Бранденбургские ворота. Стена здесь описывала полукруг, как бы вдаваясь в Западный Берлин, и единственные сохранившиеся ворота города оказались на территории ГДР. Но подойти к ним близко было невозможно: сразу за последними липами был построен охраняемый полицейскими забор, а огромную пустую площадь перед воротами контролировали уже пограничники.

А почти напротив кафе высилось монументальное серого цвета здание, глядя на сталинскую архитектуру которого, можно

было и без красного флага над главным фасадом догадаться, что здесь обосновалось посольство Советского Союза.

Ровно в полдень в кафе вошёл мужчина средних лет с дипломатом. Хорошо сидящий светлый летний костюм мог обмануть разве что беззаботного туриста. Вошедший окинул быстрым взглядом зал и уверенно направился в мою сторону. В те несколько секунд, за которые он преодолел расстояние до стола, я успел внимательно его рассмотреть.

Ранняя лысина зрительно удлиняла его и без того овальное лицо. Было в нём что-то от добермана-пинчера — идеальной полицейской собаки. Большие, чуть оттопыренные и вытянутые вверх уши, тонкий длинный нос, который, казалось, помогает безошибочно взять след, ничего не выражающие глаза. Хотя, возможно, на моё восприятие его внешности повлияло знание профессии приближающегося ко мне человека.

А ещё что-то в этом лице показалось мне отдалённо знакомым. Но где и при каких обстоятельствах мы виделись, я не смог с ходу вспомнить. «Наверное, просто таким я представлял себе сотрудника „Штази“», — подумалось мне, и я прекратил даже пытаться вспомнить, где я всё-таки раньше мог видеть это лицо.

— Здравствуйте, товарищ Фишер.

— Добрый день, товарищ Мюллер. Что-нибудь закажете?

— Думаю, да.

Жестом руки Мюллер подозвал кельнера и заказал кофе и воду.

— Так о чём вы хотели со мной поговорить, товарищ Мюллер? Да ещё и срочно.

— Для начала удовлетворите моё любопытство, — сказал Мюллер.

Он раскрыл дипломат и выложил на стол экземпляр моей книги: «Неокупированные: Мифы и легенды Шварценберга».

— Позвольте выразить своё восхищение вашей книгой. Я прочитал её с огромным интересом. Дело в том, что меня уже давно занимает эта уникальная история, и, насколько мне известно, ваша книга стала её первым серьёзным исследованием. Вы приводите несколько версий того, как же могло так слу-

читься, что эта часть территории Германии в 1945 году оказалось почти на полтора месяца не занята ни русскими, ни американцами. Какая из них кажется вам наиболее вероятной?

Хотя я понимал, что офицер «Штази» вряд ли пригласил бы меня на встречу, чтобы обсуждать книгу о событиях почти сорокалетней давности, авторское тщеславие взяло верх над страхами. Преодолевая внутреннее напряжение, я собрался с мыслями и стал излагать свои взгляды, постепенно входя во вкус, будто отвечал на вопросы на рядовой встрече с читателями. Сколько их было в моей писательской жизни...

— Думаю, дело всё-таки в географической путанице. Я некоторое время имел возможность работать в архивах в Москве и нашёл там один любопытный документ. 5 мая 1945 года в Торгау встретились советский маршал Конев и американский генерал Омар Бредли, и они договорились, что демаркационная линия, которая разделит войска союзников, в регионе Рудных гор пройдёт по реке Мильде. Но, видимо, никто не обратил внимание, что в этом районе протекают три реки с таким названием. Собственно, Мильде образуют два её притока — Цвиккауэр-Мильде и Фрайбергер-Мильде. Вот и вышло, что союзники остановились не на разных берегах одной реки, а на разных реках. В мемуарах обоих военачальников вы не найдете упоминания этой халатности, в результате которой территория между двумя реками, куда входил и Шварценберг, и оставалась неокупированной до тех пор, пока ошибка не вскрылась. Другие объяснения, включая то, что о регионе просто забыли, кажутся мне несостоятельными.

— Возможно, возможно... Но я всё-таки думаю, причина в другом. Почти наверняка дело в сговоре.

— Вы имеете в виду версию, что регион специально оставили неокупированным из-за негласного соглашения американцев с людьми из штаба гроссадмирала Карла Дёница?

— Именно так. Полагаю, это был сговор, который позволил бы части солдат вермах-

та беспрепятственно отступить из Богемии и сдать в плен союзникам, а не русским?

— Это конспирология чистой воды. Никакими документами, включая дневниковые записи Дёница и офицеров его штаба, такая тайная встреча не подтверждается. Это такая же ерунда, как версия о переделе Берлина — дескать, советское руководство по неразглашаемым причинам решило обменять этот регион на несколько кварталов Берлина. Что такого особенного могло быть в маленьком куске земли в Рудных горах, чтобы не пожалеть за него часть своей доли в разделённом Берлине?

— Возможно, когда-нибудь выяснится, что и такое могло реально произойти. Но если и так, то документы об этом будут ещё долго храниться под грифом «Совершенно секретно».

— Вам виднее. Товарищ Мюллер, но вы же не это собирались обсуждать? Может, перейдём, наконец, к делу?

— Речь пойдёт о вашем сыне. Пауль Фишер ведь ваш сын?

— Да.

— Давно вы видели его в последний раз?

— Несколько месяцев назад. У него своя жизнь, так что видимся мы с ним не так часто, как мне бы хотелось. Он работает в Дрездене на авиастроительном заводе.

— А не припомните, что он вам рассказывал о своих планах, когда вы встречались в тот раз? Может быть, что-то в его поведении показалось вам необычным или странным?

— Ничего особенного. Он приезжал на мой день рождения, ну а какие могут быть серьёзные разговоры во время семейного праздника. Он что-то натворил?

Мюллер не спешил с ответом. Глотнул кофе, запил водой и всё это время внимательно смотрел на меня.

— Я расследую дело вашего сына. Он подозревается в попытке сбежать на Запад. Он арестован и в данный момент находится в одной из следственных тюрем «Штази». Собственно, «подозревается» — это фигура речи. При задержании в багажнике его автомобиля были обнаружены некие предметы, из которых можно было довольно быстро со-

брать плавсредство, способное доставить человека в территориальные воды ФРГ. Наши эксперты уже провели соответствующие испытания, которые подтвердили, что из района Больтенхагена, куда он направлялся, он вполне мог реализовать свой план. Пауль Фишер оказался толковым и весьма изобретательным инженером. Только свои способности он потратил не на то дело.

— Насколько я знаю, некоторое время назад у него возникли проблемы на работе. Он — человек гордый, делиться своими бедами, а уж тем более жаловаться с детства не приучен. Обмолвился только, что сложности ему организовало ваше ведомство.

— Корень его проблем — вы. Точнее, ваше недавнее прошлое.

— Что вы имеете в виду?

— Неужели вы могли предположить, будто ваши розыски и последующая активная переписка с родственниками в США пройдут мимо нас?

— А что в этом предосудительного? Все члены моей семьи были убиты во времена нацизма, и лишь недавно выяснилось, что ещё до Хрустальной ночи брат моего деда успел переехать в Америку. Его дети и внуки — единственные родственники, которых я смог найти. Был ещё брат деда, который совсем молодым уехал в Швейцарию, но после войны ни его следов, ни следов его семьи мне обнаружить так и не удалось.

Мюллер продолжал пристально смотреть на меня, не произнося ни слова. А я и не заметил, как стал оправдываться.

— С моими же найденными американскими родственниками я никогда не виделся. Мы некоторое время переписывались, но более двадцати лет назад ваши коллеги мне намекнули, что эта переписка нежелательна. С 1961 года я не знаю, где они и что с ними. В чём вина моего сына, который в тот момент буквально пешком под стол ходил?

— Вы ничего не рассказали ему о своих американских контактах. Соответственно, он не сообщил о наличии родственников за рубежом ни при поступлении в технический университет, ни устраиваясь на работу на авиастроительный завод. Тем самым он

обманул партию и структуры госбезопасности. Это открылось только тогда, когда цех, в котором он работал, начал перестраиваться под выпуск особо секретной продукции и наше ведомство организовало перепроверку личных дел всех сотрудников.

— И что в таком случае вы хотите от меня?

— Я хочу договориться с вами. Вы популярный в стране журналист и писатель, товарищ Фишер. Своего сына вам уже не спасти, разве что, помогая нам, вы можете слегка облегчить его участь. Но в ваших интересах найти правильные слова, чтобы уберечь от глупостей ещё чьих-нибудь сыновей и дочерей. Я не стану торопить вас с ответом. Давайте встретимся завтра здесь же в то же самое время. Думаю, что вам хватит времени, чтобы хорошенько подумать: стоит ли окончательно закапывать сына и усложнять жизнь себе.

Он уже поднялся из-за стола, когда я решился спросить:

— Товарищ Мюллер, а почему вы всё-таки решили встретиться со мной? Мне говорили, что в вашей структуре это не принято.

— Интересно, кто вам это сказал? — улыбнулся Мюллер. — Но вы правы, следователи обычно не работают с родственниками предателей. Это делают другие люди. Мне хотелось посмотреть, как вы изменились за четыре десятка лет.

— Но я вижу вас первый раз в жизни.

— О, тут вы сильно ошибаетесь. Мы с вами уже однажды встречались. Но нет ничего удивительного в том, что вы меня не узнали. В семнадцать лет редко обращают внимание на семилетних соседей. Хотя и я, наверное, не узнал бы вас, встретив на улице. Слишком много лет прошло с тех дней в Шварценберге...

Глава 4. Маркус Фишер. Неоккупированные

Меня разбудило удивительное ощущение тишины. Казалось, что из обычной звуковой палитры городка, проникающей в расположенное ниже уровня земли окно моей тайной кельи, удалили какую-то басовую ноту. И её отсутствие было столь заметно, что

привычные звуки — плохо различимые голоса людей, лай собак, шум весеннего дождя, монотонное завывание ветра — еле пробивались наружу, словно укутанные в толстый слой ваты.

Вдруг стало понятно, что в эти дни последнего месяца весны 1945 года именно она и была главной в жизни Шварценберга — небольшого города у подножья Рудных гор. А ещё возникло ощущение, что исчезновение этой ноты означает завершение продолжавшегося более шести лет очень страшного этапа моей пока ещё совсем короткой жизни. Впереди была неизвестность, но страха больше не было...

Мне было пять лет, когда улочки моего родного Ауэ, ещё одного города в Рудных горах, заполонили люди в коричневых рубашках с красными повязками на руках, где в белом круге был нарисован какой-то знак чёрной краской. Помню, я с мальчишеским восторгом смотрел на марширующие под барабанный бой колонны, выбивающие пыль из брусчатки старинной мостовой. Особенно зрелищно это было вечерами, когда, сомкнув строй, они втягивались в узкие переулки, превращаясь в гигантскую змею, освещённую бесчисленными факелами, отбрасывающими на стены странные тени. Развевались флаги, колыхались на ветру штандарты. «Германия, проснись», — скандировали они. И от этих людей с их сжатыми кулаками и горящими ненавистью, полными решимости глазами веяло новым порядком и нечеловеческой силой. И великой имперской Германией, которой бредили немцы полтора десятка лет после унижения в Версале.

Я был ребёнком, но и у моего отца, аптекаря Михаэля Фишера, появление нацистов особой тревоги вначале не вызвало. «Люди болели и болеть будут. И лекарства будут им нужны при любой власти», — сказал он как-то вечером. — Думай об этом, когда придёт время выбирать профессию». В глубине души он наверняка надеялся, что я продолжу семейный бизнес.

Первую аптеку в нашем роду открыл мой прадед — Мойше Фишер. Отца нарекли в его честь, но имя ему дали более немецкое. Мой

дед — Соломон Фишер — был младшим сыном в семье, но два его старших брата интереса к фармации не проявили, выбрав свой путь. Яков перебрался в Берлин, стал врачом, обзавёлся своей практикой и отказываться от этой работы, а уж тем более возвращаться из столицы в Ауэ не собирался. Давид и вовсе совсем молодым уехал в Швейцарию, поступил в ученики в ювелирный дом «Бушерер» в Люцерне, потом открыл своё дело, в котором вполне преуспевал. В Германию он так и не вернулся, и следы его затерялись во времени.

У Мойше особого выбора не было, и он передал аптеку Соломону. Случилось это незадолго до смерти прадеда, поэтому проклясть моего деда и лишить его наследства, когда тот женился на христианке, Мойше — богобоязненный иудей — просто не успел.

От деда аптека перешла к моему отцу, у которого оказался недюжинный талант коммерсанта. Через какое-то время он расширил бизнес, приобрёл помещение в Шварценберге, расположенном в полутора десятках километров от Ауэ, и открыл там ещё одну аптеку. С той поры отец с мамой так и жили на два города. За бизнесом в Ауэ в основном приглядывал дед, отец большую часть времени посвящал развитию аптеки в Шварценберге.

А ещё и дед, и отец, как и положено, были меценатами. В начале века они сделали немалые пожертвования в строительство новой кирхи в отдалённом от центра районе Шварценберга. Строгое серое здание подняли за год. Дед, а позднее и отец входили в совет попечителей. Как в воду глядели.

Я хорошо запомнил тот зимний день 1940 года, когда отец позвал меня к себе в кабинет. Буквально накануне дед привёз меня к родителям из Ауэ, он говорил, что я проведу в Шварценберге несколько дней школьных каникул. Отец выглядел уставшим и потерянным, а стоявшая здесь же мама, словно спрятавшаяся в тень, отбрасываемую старинным абажуром, смотрела в сторону подозрительно красными глазами. «Маркус, дружочек, отнеси это письмо пастору Вагнеру в нашу кирху. И сделай всё, что он скажет», —

сказал отец, отдавая мне запечатанный конверт и чуть дольше обычного задержав мою руку в своей. Мама просто обняла меня, не сказав ни слова. Как я, наивный, домашний двенадцатилетний мальчишка, мог догадаться, что вижу их в последний раз в жизни. По еврейским законам мой отец евреем не был, а по Нюрнбергским был.

С тех пор прошло пять лет...

...Замаскированная снаружи дверь открывается с лёгким скрежетом, и в келью буквально врывается пастор Вагнер. Невысокий, немолодой, но ещё крепкий, он всегда излучает спокойствие и доброту. Но сегодня пастор буквально светится радостным, непривычным светом.

— Маркус, война закончилась. Гитлер покончил с собой, нет больше ни тысячелетнего рейха, ни гестапо, ни НСДАП... Ты свободен, мальчик мой. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твоё. Аминь.

— Аминь. Я должен был догадаться. Уже несколько дней не слышно канонады. Но скажите, святой отец, кто сейчас в городе? Русские? Американцы?

— Самое удивительное, мальчик мой, что никто так и не пришёл: ни американцев, ни русских в городе нет. Говорят, что Советы обосновались в Аннаберге, янки остановились в районе Ауэ. А мы между ними и сами по себе.

— И что было дальше?

— Оказалось, что за эти годы в городе ещё сохранились и социалисты, и даже коммунисты. Они буквально выкинули из ратуши прежнего бургомистра и объявили свой Антифашистский комитет новой властью в Шварценберге. Ни полиция, ни местное гестапо никакого сопротивления не оказали: сожгли документы и просто сдали оружие. Теперь некоторые наиболее важные нацисты Шварценберга сидят в подвалах замка, где раньше врагов рейха держало гестапо. Так или иначе тебе более ничто не угрожает, мой мальчик.

Я присел на край широкой, встроенной в полукруглую нишу доски, служившей мне кроватью, словно впервые увидев келью,

в которой за эти годы изучил каждую трещинку. Убранство отличалось церковным аскетизмом. Напротив кровати — простенький стол. Ещё один столик — у подземного окна, выходящего в кирпичный колодец. На полу затертый коврик. На стене — простенькое распятие. Сколько раз за эти годы я молился перед ним за своих родителей. Не о сохранении их жизней просил я Создателя — судьба евреев в Третьем рейхе была предопределена, но о лёгкой и немучительной смерти.

Вагнер опустился рядом со мной, обнял за плечи, и от этого прикосновения моя душа наполнилась привычной лёгкостью и теплом.

— О чём ты думаешь, Маркус? Тебя что-то тревожит?

— Я не знаю, что мне делать, святой отец. Куда идти? Где жить? Как вести себя с людьми? Я никого, кроме вас, не знаю в этом городе.

— Эта келья и мой дом всегда открыты для тебя. А идти тебе надо в ратушу. Фрау Марта говорила, что комитет обещает работу всем, кто разделяет их взгляды и не замешан в преступлениях нацистов. Ты ни с кем не знаком в Шварценберге, а если кто и видел тебя до войны в церкви с отцом, то вряд ли узнает спустя столько лет. Иди, Маркус. Да даст тебе Господь по сердцу твоему и все намерения твои да исполнит.

Я вышел на пустынную улицу и направился к ратуше, в сторону центра городка, ориентируясь на хорошо видимую с любой стороны, поднимавшуюся, казалось, прямо до неба колокольную церковь Святого Георгия и серую громаду старинного замка. Его башни возвышались над городом и словно следили за окрестностями через немногочисленные зарешеченные прямоугольные окна. Прошёл мимо приземистых домов, словно вцепившихся в дорогу, чтобы не сползти в текущую в низине небольшую речку, перешёл её по старинному каменному виадуку.

У входа в ничем не примечательное здание стояли двое ребят по возрасту чуть старше меня. На них была надета полевая армейская форма со споротыми нашивками и знаками отличия. Оба были вооруже-

ны автоматами. При виде меня парни явно насторожились. Один преградил мне дорогу, а второй отошёл чуть в сторону, чтобы держать меня на прицеле.

— Кто такой? Что тебе здесь надо?

— Мне сказали, что здесь можно получить работу. Куда и к кому мне обратиться?

Паренёк окинул меня с ног до головы взглядом, даже не пытаясь скрыть подозрительность под маской вежливости. Видимо, я не вызвал у него серьёзных опасений, потому что после небольшой паузы он сделал шаг в сторону и проговорил.

— Поднимешься на второй этаж, там повернёшь направо. Чуть не доходя конца коридора, увидишь кабинет. Тебе нужен Пауль Корб, он начальник городской полиции. Ему, вроде, нужны люди в отряд самообороны.

— А номер кабинета?

— Иди, не ошибёшься, там у дверей всегда толпится народ.

У кабинета на втором этаже было действительно многолюдно. Мне пришлось подождать, пока дошла моя очередь.

— Садись. Кто ты такой? — из-за стола на меня внимательно смотрел мужчина лет сорока с короткой стрижкой.

— Меня зовут Маркус Фишер.

— Еврей?

— Нет, с чего вы взяли.

— Фамилия такая. Ладно, продолжим. Сколько тебе лет? Откуда взялся? Что ты хочешь?

— Мне 18 лет. Я бежал из Дрездена после бомбардировки и некоторое время жил у крестьян на хуторе недалеко от границы с Чехословакией, километрах в десяти отсюда. Узнал, что в Шварценберге нет ни русских, ни американцев, а работа есть. Вот и пришёл. Мне сказали, что я должен обратиться к вам.

— И что ты умеешь? Стрелять доводилось?

— Пока ещё нет. Но, думаю, смогу научиться.

— Понятно.

Корб задумался.

— А какое у тебя образование?

— Я закончил гимназию в Дрездене.

— Мне кажется, я нашёл тебе дело. Отправляйся-ка сейчас на рыночную площадь. Найдёшь там типографию Людвига.

Корб взял лист бумаги, ручку и что-то быстро написал.

— Вот тебе записка для Оскара Шика. Комитет намерен издавать еженедельную газету для жителей. У тебя ведь, как понял, знакомых в Шварценберге нет, так что при типографии можешь первое время и ночевать.

Так началась моя новая жизнь. Кто тогда мог подумать, что Пауль Корб выбрал мне профессию...

...Из газеты «Шварценбергер Цайтунг», №2, май 1945 года:

«Найденное имущество вермахта подлежит немедленной сдаче

Хотя неоднократно объявлялось, что найденное имущество вермахта: оружие, транспортные средства, топливо, шины, аккумуляторы и т. п. — подлежит немедленной сдаче, это пока делается населением крайне неохотно. Каждый должен подумать, с каким трудом сегодня осуществляются поставки продовольствия. Большинство автомобилей угнано отступающей армией, а тех немногих, которые удалось сохранить или восстановить, явно недостаточно. Промышленность также снова нуждается в транспорте. Таким образом тот, кто несанкционированно использует автомобили в личных целях, тем самым осуществляет экономический саботаж! Сообщайте властям обо всех транспортных средствах, которые могут послужить целям обеспечения нашего питания!

Отдельный разговор об оружии в детских руках. Ежедневно из разных мест Германии поступают сообщения о подростках, направивших оружие против солдат оккупационных держав. Такие случаи обычно имеют трагические последствия для жителей городков, где случаются подобные инциденты. Неужели ещё недостаточно крови пролилось! Обратите внимание на молодых людей, многие из которых ожесточены, и помните: вы несёте за них полную ответственность.

Отбросьте застенчивость! Докажите своим сотрудничеством, что вы готовы помочь в окончательном демонтаже нацистского прошлого. Только так Германия сможет снова вступить в сообщество порядочных народов!»

Глава 5. Маркус Фишер. Будни Шварценберга

Меня разбудило ощущение счастья. Я ещё несколько минут лежал в постели, боясь расплескать нахлынувшие эмоции, снова прокручивая в голове кадры минувшего дня...

...Боец из отряда местной полиции появился в типографии поздним вечером и сразу прошёл в кабинет к Оскару Шики. Через пару минут он позвал меня к себе.

— Маркус, Паулю сообщили, что в охотничьем домике неподалёку от Шварценберга скрывается Мартин Белльсман, высокопоставленный нацист из Ауэ. Сегодня ночью наш отряд самообороны попробует захватить его. В комитете считают, что, если операция пройдёт успешно, об этом надо написать в газете. Ты отправляешься с Корбом и его людьми.

Ночь опустилась на Рудные горы внезапно. День выдался пасмурный, облака укутали склоны словно непромокаемой плащ-палаткой. Ни единый луч — ни от висящей где-то над горами почти полной луны, ни от по-весеннему ярких звёзд — не долетал до земли. В кромешной тьме наш отряд без единого звука окружил охотничий домик — двухэтажное сложенное из потемневших от времени брёвен здание с косой крышей, с одной стороны почти касавшейся земли. Большую часть второго этажа занимала открытая терраса, с которой, наверное, открывался чудесный вид на горы и расположенный под нами Шварценберг. Но нам сейчас было не до красот, да и нервное напряжение, ощутимо витавшее в группе, с каждой секундой становилось всё сильнее. Домик как будто спал, лишь на первом этаже чуть светилось одно окно. Пауль тихо постучал в него особым, видимо, заранее оговорённым стуком. Через секунды в дверях появился человек.

— Доброй ночи, Рудольф. Сколько человек вместе с Белльсманом? Где они сейчас?

— На втором этаже в двух соседних комнатах. С ним один человек. Видимо, адъютант. По-моему, они уснули. Вечером допились до беспамятства, сам их до постелей тащил.

— Вооружены?

— Я видел только пистолеты.

Мы вошли в домик и, стараясь, чтоб не скрипнула ни одна половица, поднялись на второй этаж. Хозяин указал нужные двери, Пауль разделил бойцов. При этом несколько человек он оставил на улице под окнами.

По сигналу Корба бойцы одновременно выломали двери и ворвались в комнаты. В момент вспыхнули сразу несколько мощных переносных шахтёрских фонарей, слепя двух человек, которые явно не понимали, что происходит. Никакого сопротивления они оказать не успели. Да и вряд ли могли: столь молниеносно был произведён захват.

Корб не зря занимал пост начальника полиции Шварценберга. Он был единственным членом антифашистского комитета, имевшим реальный боевой опыт. Сорокалетний коммунист, после прихода к власти нацистов три года отсидел в тюрьме, потом был принудительно отправлен в военную школу в Шлезвиге и в сорок втором году в составе пехотного батальона оказался на Восточном фронте. Долго повоевать не пришлось: после тяжёлого осколочного ранения в живот его комиссовали в 1943-м, и он вернулся в Шварценберг. Эту историю мне рассказывали ребята из его отряда, которые Корба разве что не боготворили.

Теперь зал первого этажа был буквально залит светом. Белльсман и его адъютант с крепко связанными за спиной руками стояли в кругу бойцов. Владевшее нами последние несколько часов нервное напряжение потихоньку уходило. Я смотрел на Белльсмана, который не выказывал никаких эмоций. Страх в нём точно не было, скорее усталость и покорное безразличие к своей судьбе. Он, разумеется, не помнил меня, но я...

Я узнал его сразу. И накатились воспоминания о том страшном дне, 9 ноября 1938 года. Именно Белльсман командовал группой крепких, одетых в коричневые рубашки штурмовиков, которые вдребезги разнесли нашу аптеку в Ауэ и зверски избили моего отца, пытавшегося как-то защитить дело своей жизни. Мне было десять лет, мама пыталась прижать меня к себе, чтобы я не видел происходящего, но я вырвался, и это хлёбое лицо со сломанными ушами, крупным

мясистым носом и тонкими надменными губами, как и всё происходившее, накрепко врезалось мне в память.

Белльсман вместе с несколькими полицейскими, которые ничего не сделали, чтобы защитить нас, стоял на улице перед расколотой вдребезги витриной. Свет фонаря искрился в осколках. Мой отец, весь в крови, валялся на битом стекле у их ног.

— Надо укрыть жида, а то ночи холодные, ещё замёрзнет, — рассмеялся Белльсман и бросил на отца сбитую на землю элегантную вывеску «Аптека Фишера».

— Уходим, — скомандовал он своим бойцам, — у нас ещё впереди много работы. Ночь длинная, и жида должны её запомнить как следует.

Я запомнил...

...Из газеты «Шварценбергер Цайтунг», №2, май 1945 года:

«Нацистские преступники у позорного столба

Известие об аресте бывшего видного саксонского нацистского преступника Мартина Белльсмана прокатилось по нашему городу как лесной пожар. Достаточно долго он применял бесчеловечную тираническую систему национал-социализма против инакомыслящих в регионе Рудных гор. Он не только причастен к ужасающим злодеяниям, которые также совершались в саксонских трудовых и концентрационных лагерях, но и является — и мы никогда этого не забудем! — трусливым убийцей наших жён и детей, ставших жертвами развязанной нацистскими бонзами и их подручными, такими как Мартин Белльсман, бессмысленной войны. Он, который годами на словах проповедовал храбрость и стойкость, хотел уйти от ответственности трусливым бегством и таким образом заклеил себя как самый последний мерзавец. Благодаря умелым действиям начальника городской полиции Пауля Корба и бойцов отряда местной самообороны палач и убийца Белльсман задержан и будет передан в руки Красной Армии.

Но перед этим решением бургомистра Ирмиша Белльсман и ряд задержанных в регионе нацистских прихвостней со связанными руками и в одних трусах были проведены

по улицам города, а затем выставлены у позорного столба на рыночной площади Шварценберга. Там они стояли несколько часов не в своих парадных мундирах с серебряной шнуровкой и двумя такими же молниями и дубовыми листьями на петлицах, но во всей убогости своих жалких личностей: обычные преступники, не заслуживающие ни внимания, ни сочувствия.

Тщательная зачистка общественного организма от преступных элементов бывшего нацистского режима будет продолжена. И тому, что регион Рудных гор будет освобождён от них, мы обязаны настойчивости таких, как Пауль Корб, кто в течение нескольких лет на себе испытывал нацистский террор».

Глава 6. Маркус Фишер. Предательство, которого не было

Меня разбудило ощущение безнадёжности. Наверное, так чувствует себя опытный шахматист, попавший в цугцванг — положение в партии, когда не остаётся хороших решений, и любой ход ведёт к ухудшению позиции. И надо обладать достаточной силой воли, чтобы не сдаться сразу, чтобы продолжать сопротивление в безнадёжной ситуации, понимая, что от тебя уже мало зависит, что спасти может лишь грубая ошибка соперника. Но в партии против «Штази» на это рассчитывать не приходится.

Я отчётливо понимал, что мне оставили незавидный выбор между плохим и очень плохим. И дело даже не в неизбежной потере заработанной за годы репутации приличного человека, которой не избежать, прими я предложение Мюллера. Ради спасения своего ребёнка любой человек пожертвует не только репутацией, но и чем угодно, включая жизнь. Но мне прямым текстом было заявлено, что Паулю уже не помочь. То есть мне предложили предать сына, чтобы спасти себя, свою карьеру, спокойную жизнь, наконец.

Я — совсем не герой. И прекрасно осознаю, какого врага могу получить в лице «Штази» и что последует, если я откажусь.

И Мюллер ничуть не сомневается, что я это понимаю. Но в одном эти товарищи заблуждаются: свой страх я навсегда похоронил в Шварценберге...

Когда я вошёл в кафе, сознательно слегка опоздав ко времени назначенной встречи, Мюллер уже сидел за тем же столиком, лениво попивая дымящийся кофе и с холодным равнодушием рассматривая туристов за окном. Его расслабленная фигура демонстрировала совершенную уверенность в исходе предстоящего разговора. Да и почему он должен был думать иначе — в этой стране от предложений госбезопасности отказываться не принято.

Заметив меня, Мюллер улыбнулся, но в этой улыбке не было и грамма радушия.

— Добрый день, товарищ Фишер.

— Здравствуйте, товарищ Мюллер.

Я решил не садиться, чтобы не затягивать бессмысленный разговор.

— Я подумал над вашими словами, но помогать вам не буду. Не в моих принципах предавать своих близких.

Если Мюллера и удивили мои слова, то он этого никак не продемонстрировал. Не спеша взял со стола чашку, сделал несколько глотков кофе, словно для него разговор исчерпал себя, не успев начаться. Я продолжал стоять, не очень понимая, что делать дальше. Повисшая тишина становилась невыносимой.

Я повернулся, не прощаясь, и уже собирался уйти, когда Мюллер прервал молчание.

— Не спешите уходить. Мы ещё не закончили. Не в ваших принципах, говорите, предавать близких, Фишер? Я всё правильно расслышал?

Я молчал, понимая, что мой ответ его во все не интересует. Что у этого человека, как у профессионального шулера, спрятан какой-то козырь в рукаве. И сейчас его выложат на стол.

— Значит, вы не из тех, кто предаёт? А как же пастор Вагнер, Фишер? Разве вы не предали его? А ведь он спас вашу жизнь, рисковал своей, укрывая столько лет маленького еврейчика. А вы его предали.

Это был удар ниже пояса. Не поворачиваясь, я спиной буквально физически ощущал

холодную ненависть Мюллера. И каждое его слово отдавалось забытой болью.

— Мне едва исполнилось семь лет, но я помню тот день, как будто это было вчера. Я помню тебя, Фишер, среди тех людей, которые ворвались в кирху и арестовали пастора. На глазах у детей, прямо во время репетиции нашего хора. Ты ничего не сделал, чтобы спасти человека, благодаря которому ходишь по этой земле до сих пор. А пастор? Пастор так и не вернулся в Шварценберг. И даже я со своими возможностями офицера «Штази» не могу выяснить, что случилось после того, как Корб и его люди передали Вагнера русским...

И я снова вернулся в тот день, 21 июня 1945 года...

...Из газеты «Шварценбергер Цайтунг», №3, июнь 1945 года:

«Как нам избежать эпидемий

На основе 25-летней врачебной практики в Шварценберге я могу оценить состояние гигиены и условия питания населения. Рацион в Рудных горах всегда был скудным и особенно бедным овощами и фруктами (витаминами). Основным питательным средством в наших краях оставался картофель. Уже в результате Первой мировой войны население пострадало сильнее по сравнению с другими районами Германии и смогло гораздо медленнее, чем где-либо ещё в стране, восполнить потери в весе. Правительство национал-социалистов ещё до начала войны, в 1939 году, сильно ограничило жизненный уровень, особенно снабжение населения жирами. Это усилилось во время войны. Из года в год можно было наблюдать, как у трудящегося населения при всё усиливающихся физических нагрузках происходит всё более сильная потеря веса. Растёт число случаев туберкулёза лёгких. Почти повсеместно наблюдались тяжёлые, токсичные дифтерии. В прошлом году среди детей произошла тяжёлая эпидемия коклюша. Скарлатина не покидала регион.

Когда после капитуляции сюда хлынул огромный поток беженцев и поглотил последние запасы продовольствия, ситуация с питанием стала и вовсе катастрофической.

Пайки, предоставляемые по продовольственным карточкам, в значительной степени перестали быть доступны. Многие семьи уже не имели в доме ни одной картофелины, ни кусочка хлеба и питались луговыми травами, приготовленными почти без жира. Ко мне обращаются люди, страдающие от головокружений, измождённые голодом. Люди становятся жертвами инфекций, с которыми ещё год назад их организм справился бы сам. Наблюдают взрослых пациентов, мужчин, чей вес составляет 35, 40, максимум 50 килограммов.

Развиваются состояния, которые могут привести к вспышке чумы в ближайшее время. При этом проведение бактериологических исследований при любых инфекционных заболеваниях совершенно исключено, так как мы отрезаны от бактериологических институтов в Дрездене, Хемнице и Цвикау.

Что необходимо сделать, чтобы избежать эпидемий:

1. Организовать возможность защищённой доставки продуктов питания грузовыми автомобилями из районов, где есть их избытки.

2. Обеспечить выдачу лекарственных препаратов, сывороток и вакцин только по документам, предоставленным врачами и фармацевтами.

3. Одновременно с этим следовало бы как можно быстрее вывезти эвакуированных из перенаселённых районов».

...Накануне мы вернулись в Шварценберг поздним вечером. Бургомистру Вилли Ирмишу удалось получить разрешение американского командования на поездку в городок Браунихсвальде в Тюрингии. Там в конце войны находился большой склад медикаментов вермахта и была достигнута договорённость обменять производимые на заводе Крауссе металлоконструкции на бинты и лекарства.

В тот первый послевоенный месяц магазины стояли фактически пустые: всем правил обмен. Полфунта масла стоил 50 сигарет. 10 сигарет человек оставлял себе, а остальные можно было обменять на бутылку вина или шнапса. Алкоголь и сигареты, продукты и лекарства были универсальной валютой — деньги ничего не стоили.

Всему находилось применение. Из стальных касок делали сита и кастрюли, из противогазных коробок — лейки, из неразорвавшихся ручных гранат — детские игрушки. Только при борьбе с голодом воображение отказывало, потому что желудок требовал чего-то основательного. Но народные рецепты и житейские хитрости приходили на помощь и здесь.

«Положи руки на живот, когда ложишься спать, тогда у тебя будет ощущение, что что-то есть внутри», — подобными советами пестрели вновь появляющиеся ежедневные газеты того времени. Там же публиковались рецепты псевдомучного супа из гороха, зелёной полбы или кукурузы. Крапива высоко ценилась как заменитель шпината, мелко измельчённая кора деревьев добавлялась в муку, увеличивая её объём, из жареных желудей варили эрзац кофе. Природным дарам находилось применение и для хозяйственных нужд: каштаны рекомендовали для отбеливания, листья плюща, картофельную кожуру или бычью жёлчь — для окрашивания предметов в чёрный или синий цвет, красную свёклу, листья берёзы, щавель, скорлупу спелых грецких орехов или кору дуба использовали для окраски тканей. Правда, она была совсем нестойкой: обычно уже следующий дождь радикально менял цвет.

Вместе с доктором Фройдевальдом, отвечающим в Антифашистском комитете за здравоохранение и обеспечение медикаментами, Оскар Шик отправил в поездку и меня — написать репортаж для очередного номера газеты. Часть отряда самообороны во главе с Паулем Корбом должна была обеспечить безопасность. Это была вынужденная мера: дорога шла через Рудные горы, где в труднодоступных районах скрывались группы недобитых солдат вермахта, пытавшиеся пробиться к американцам, чтобы не попасть в плен к Красной армии, водились и обычные банды, нападавшие на всё, что встретилось на их пути. Тихоходный автобус с медикаментами и продуктами мог стать лёгкой добычей. Но обошлось.

Темно и тихо было в городе, когда мы разгрузили лекарства в больнице Шварценберга. Я уже собрался уходить, но меня остановил Пауль.

— Маркус, окажи мне одну услугу. Ирмиш и комитет ждут доклада о результатах поездки, а у меня совсем нет сил — двое суток не спал. Добеги до ратуши, доложи и отдыхай. Договорились?

Я не успел даже ответить, а крепкая коренная фигура Корба уже растаяла в темноте ночной улицы, которую лишь слегка освещала своим бледно-жёлтым светом луна, висевшая где-то вдалеке над горами.

Примерно через полчаса, поздоровавшись на входе с ребятами из группы охраны ратуши, я уже входил в здание. Приглушённый свет пробивался только из кабинета Ирмиша. Несмотря на поздний час, за полузакрытой дверью кипела жаркая дискуссия. Из долетающих обрывков фраз я понял, что речь шла о ближайшем будущем.

Всем было понятно, что бесконечно эта вольница в проигравшей войну стране продолжаться не может: рано или поздно район будет оккупирован. Но у потери независимости, в условиях которой Шварценберг жил уже более месяца, были и свои плюсы. И самый главный, конечно, обеспечение населения продуктами питания и медикаментами. Оказавшись в Брауншварцвальде и других оккупированных городах по соседству, мы с завистью слушали рассказы о продуктовых карточках. Нормы снабжения у американцев и русских были разные, но комитет в Шварценберге не мог себе позволить и такое. Особенно с учётом, что численность населения города в этот первый послевоенный месяц выросла в разы — за счёт немецких беженцев, освобождённых подневольных рабочих, прорвавшихся и осевших в Шварценберге бывших солдат вермахта.

И хотя от горожан ничего не зависело, споры о том, кто и когда оккупирует город, возникали в те дни постоянно. Большинство надеялось на скорый приход американцев. И до Ауэ, рядом с которым расположились передовые части американской армии, было примерно в два раза ближе, чем до Аннаберга, где остановились русские.

Их прихода жители Шварценберга смертельно боялись: сказывалась и многолетняя пропаганда, изображавшая казаков-людо-

дов, и обоснованные опасения, что Советы станут мстить за свои разрушенные города, убитых детей, изнасилованных женщин. Опасения эти изрядно подогревались рассказами многочисленных беженцев с восточных территорий Германии, через которые наступала Красная армия в 1945 году. Что там было правдой, а что передающимися из уст в уста страшилками, проверить было невозможно, но на атмосферу страха и недоверия они работали прекрасно.

В Антифашистском комитете, который сформировался из сумевших выжить коммунистов и социалистов, царили совсем иные настроения. Ставшие властью в городе Ирмиш, Корб и другие всеми способами пытались объяснить согражданам, что в Германию пришли братья и освободители, но слухи и порождаемые ими страхи были явно сильнее.

Я уж совсем собрался было постучаться и войти — чертовски хотелось спать, когда услышанное заставило меня остановиться.

— Пастор Вагнер повёл себя как предатель, — голос Курта Лёффлера, отвечающего за работу почты, был полон несвойственной этому человеку ненависти. — Мы вскрыли письмо, которое он собирался отправить настоятелю церкви в Ауэрбахе. Вы только послушайте, что он пишет:

«Прошу тебя, брат, незамедлительно вступить в контакт с американским командованием и обратить их внимание на Шварценберг. Ситуация у нас ухудшается день ото дня. Резко возросшее население, а в городе появилось множество беженцев с маленькими детьми, у которых нет своего угла, нет имущества, нет средств к существованию, голодает.

Захвативший власть Антифашистский комитет состоит из по-своему честных, но непрофессиональных людей. Они, как мне кажется, просто не в состоянии решить все проблемы.

Меня также пугает, что эти люди во всех своих неудачах видят происки врагов. И активно их преследуют: истинных и мнимых. В замок, подвалы которого при прежней власти служили тюрьмой гестапо, снова по ночам свозят арестованных. Да, комитет нашёл и арестовал несколько бывших нацистов,

но зачем задержали всех учителей местной школы? Они-де были членами НСДАП. Через два месяца школу надо открывать, а кто будет учить детей? Я молюсь за всех невинно пострадавших, но боюсь, что, если Шварценберг займут русские, их судьба будет незавидна.

Надеюсь, брат мой, что ты сможешь найти правильные слова и убедить американское командование помочь населению Шварценберга. Как сказано в Послании апостола Павла к Ефесеянам: «Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять».

— Это вопрос безопасности. И должен его решать Корб, — Ирмишу не перед кем было скрывать свою злость. — Где Пауль и его люди? Я его со вчерашнего дня не видел.

— Корб с утра с группой бойцов отправился в Браунихсвальде за медикаментами для больницы. Но, по идее, они уже должны были приехать.

Я на цыпочках отошёл от двери метров на пять, потом вернулся, нарочито громко гремя сапогами. Постучался и вошёл в кабинет. Под сводчатым высоким потолком клубился дым, местами скрывая старинную, пережившую войну лепнину. Сейчас совершенно бессмысленные плотные красные шторы были задернуты. Белое прямоугольное выцветшее пятно на обоях над большим дубовым столом на вычурных гнутых ножках безошибочно показывало место, где десяток лет висел портрет Гитлера.

Когда я вошёл, разговор за столом стих, как будто кто-то резко до упора вывернул ручку громкости.

— Товарищ Ирмиш, разрешите доложить. Группа вернулась из Браунихсвальде, медикаменты доставлены в больницу. Поездка прошла без происшествий, — обратился я к бургомистру.

— Спасибо, Маркус, — Ирмиш моментально стер с лица злость, вызванную предательством пастора, и улыбнулся мне. — А где Пауль?

— Товарищ Корб просил его извинить. Он не спал несколько суток, поручил мне доложить о результатах поездки и предупредить, что появится утром. Могу быть свободен?

— Да, Маркус, иди отдыхай.

Уже закрывая за собой дверь, я услышал слова Ирмиша:

— Пускай Пауль завтра первым делом тащит пастора в замок. Там разберёмся.

Надежда поспать этой ночью растаяла, как последний снег, который в этом году задержался на склонах Рудных гор непривычно долго. Через час, когда я стучал в дверь расположенного сразу за кирхой пасторского дома, была уже глубокая ночь. Сперва никто не ответил — в окнах погружённого в сон дома отражался лишь молочно-белый свет луны. Я постучал ещё раз и ещё. Прошло, наверное, минут десять, пока в окне появился приближающийся, неуверенный свет свечи.

— Кто здесь? — раздался из-за двери такой родной голос.

— Это я, пастор Вагнер. Маркус.

— Маркус, сын мой. Подожди секундочку.

Лязгнул открывающийся засов двери, поток воздуха качнул огонёк, осветив пастора. Я никогда не видел его таким. С примятыми сном волосами, в нелепой ночной пижаме и стареньких тапках Вагнер выглядел постаревшим и беззащитным.

— Доброй ночи, Маркус. Что привело тебя сюда? Почему ты так взволнован?

— Отец, вам надо немедленно скрыться.

— Что за глупости, мой мальчик? Мне зачем бежать, да и некуда.

— Они вскрыли ваше письмо в Ауэрбах и теперь обвиняют вас в измене и сговоре с американцами. Ирмиш распорядился утром арестовать вас...

Вагнер предупреждающим жестом руки остановил меня:

— С Господом нашим и в тюрьме свобода, а без Христа и на свободе тюрьма. Ты ещё молод и вряд ли готов понять или принять, но запомни: есть свобода, которую ничто не может у нас отнять — у человека в любой ситуации есть выбор. Свой я сделал давно и ни при каких обстоятельствах не брошу паству.

— Но зачем вы написали это письмо в Ауэрбах?

— Потому что не хочу, чтобы мы, немцы, после двенадцати лет, полных ненависти, насилия и страха, стали жертвами ещё одной

утопии. Социализм, который несут русские, мало чем отличается от нацизма. На словах они проповедуют христианские ценности — равенство и справедливость. Но на деле же выбирают не любовь к ближнему, а бесконечный поиск врага и ненависть. Ирмиш, Корб и другие люди из вашего комитета сделали свой выбор. Помни, что сказано в Евангелии: «Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Итак, по плодам их узнаете их».

— Но они...

— Иди спать, мой мальчик. Ты, вижу, едва держишься на ногах. Уповай на Господа и делай добро, Маркус.

...Из газеты «Шварценбергер Цайтунг», №4, июнь 1945 года:

«Американцы оставили Хемниц

Радиостанция «Берлин» объявила вчера: по сообщению командования американского экспедиционного корпуса и, согласно достигнутому договорённостям, американские войска освободили район Хемница, оставив участок шириной 50 километров и глубиной 10–20 километров. Следующие за ними русские войска вышли на восточный берег реки Мюльде у Цвиккау и заняли города южнее Кирхберга».

— ...А знаешь, Фишер, я подумал, что не очень-то и нуждаюсь в твоей помощи, — голос Мюллера вернул меня к реальности. — Твой сын узнает ту правду, которую я ему расскажу. И поверит: ведь если ты предал отца, то мог предать и сына.

Его усмешка не сулила ничего хорошего...

Глава 7. Пауль Фишер. Подарок с подвохом

Меня разбудило ощущение, что сегодня обязательно что-нибудь случится. Следовательно, казалось, забыл о моём существовании, во всяком случае, на допросы меня перестали дёргать совсем. Наверное, это тоже какой-то тактический ход, применяемый «Штази», чтобы психологически измотать узника. Заняться в следственном изоляторе совершенно нечем, человек постепенно теряет

контроль за временем. Вот и я уже толком не могу сказать, какой сегодня день и сколько уже здесь нахожусь. А сколько ещё пробуду?

Лязгает, открываясь дверь, на пороге вырастает конвоир:

— Номер 125 — на допрос.

Хоть какое-то разнообразие. И вот мы снова идём знакомым окрашенным в светло-серые цвета коридором под бдительным взором вмонтированных под потолком видеокамер.

— Стоять, лицом к стене, — командует конвоир у двери кабинета.

— Товарищ, майор. Заключённый номер 125 доставлен.

— Заводи.

Сегодня майор смотрит на меня с неподдельным интересом. Кажется, он намерен поиграть в «доброго следователя».

— Здравствуйте, гражданин Фишер. Мы с вами давно не встречались. Садитесь к столу.

— Не скажу, гражданин следователь, что я по вам скучал.

— Напрасно вы так. При других обстоятельствах нашего знакомства мы даже, наверное, могли бы и друзьями стать. Я всегда уважал мыслящих, творческих людей. Могу сказать, что разработанное вами плавсредство поразило наших экспертов: прекрасный пример инженерного и конструкторского минимализма. Словом, я против вас лично ничего не имею. И могу вам это легко доказать.

— Интересно, каким образом? — я делаю вид, что втягиваюсь в предлагаемую мне игру.

— Ну, например, я знаю, что у вас сегодня день рождения. И у меня есть для вас даже небольшой подарок. Хотя это и противоречит нашим правилам.

Майор открыл ящик стола и положил передо мной экземпляр газеты «Нойес Дойчланд», центрального партийного издания в ГДР.

— Это самый свежий, буквально сегодняшний выпуск. Не могу разрешить вам забрать её с собой в камеру, но здесь, при мне, можете почитать. Кстати, советую начинать не с последней страницы — даже если вам, болельщику дрезденского «Динамо», не тер-

пится узнать, на каком месте сейчас любимая команда. Самое интересное для вас на второй странице.

— И что там?

— А вы откройте, и увидите. Не буду вам мешать.

Майор взял со стола пепельницу, отошёл к зарешеченному окну, открыл форточку, достал пачку болгарских сигарет «Опал» и не спеша закурил.

Интересно, что на этот раз задумал следователь? Я всё-таки сначала демонстративно посмотрел новости спорта, а потом не спеша перелистал газету и...

Ощущение было такое, будто я оказался на глубине, а в кислородных баллонах нет воздуха. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы унять сердцебиение и снова начать дышать. Прямо с середины страницы на меня смотрела фотография из семейного архива. Мы с отцом стояли на фоне моста «Голубое чудо».

Это был первый раз, когда папа привёз меня в Дрезден. Мне было, по-моему, одиннадцать лет. Большую часть дня мы провели в Цвингере. Я помню, с каким интересом рассматривал старинное оружие и рыцарские доспехи в Оружейной палате, коллекцию зажигательных стёкол, различных часовых механизмов и глобусов в Физико-математическом салоне.

Но больше всего меня поразило именно мост. Это была любовь с первого взгляда. Я не мог себе представить, какое волшебство заставило эти тонны металла буквально парить над рекой. Ещё больше поразило моё воображение рассказ отца, как только что построенный мост испытали на прочность. «Представь себе, Пауль, — сказал он, показывая мне старинную фотографию, — на проезжую часть загнали паровые катки, трамвайные вагоны, загруженные корабельными якорями и булыжниками, конные повозки с бочками с водой и пустили роту марширующих солдат. И под этой нагрузкой мост прогнулся в центре менее чем на сантиметр. Реальное чудо инженерного искусства».

Отец, видя, как горят мои глаза, попросил кого-то сфотографировать нас на память.

Теперь эта памятная мне фотография стояла на второй странице главной партийной газеты, иллюстрируя статью под заголовком «Паулинхены и мнимая свобода». Паулинхен — так в детстве называл меня отец.

Мне потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя. Строчки плыли перед глазами, которые раз за разом пытались вернуться к фотографии. Но я заставил себя погрузиться в текст.

«У великого русского поэта Александра Пушкина есть знаменитые строчки: «Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!» Они как никогда актуальны в отношении нынешнего поколения молодых интеллектуалов в нашей стране, которые буквально бредят жизнью за Стеной. ГДР для них государство «тоталитарное», этаким современным, модернизированным вариантом концлагеря, в котором жизнь человека регламентирована до мелочей, а любой шаг в сторону, малейшее отступление от генеральной линии влечёт за собой жесточайшее наказание. Западный же мир, наоборот, видится нашим Паулинхенам раем на Земле, единственным местом, где человек может быть по-настоящему свободным. И ради этой «мнимой свободы» Паулинхены готовы пуститься во все тяжкие, рискуя своими молодыми жизнями, неся горе близким им людям.

У читателя наверняка возникло как минимум два вопроса: почему я говорю о «мнимой свободе» и называю этих людей Паулинхенами. Начну со второго: Паулем, как мне кажется, стоит называть взрослую, ответственную личность, способную критически анализировать окружающий мир и делать правильные выводы. Паулинхен — это человек, отмеченный печатью инфантилизма, смотрящий на действительность глазами невыросшего ребёнка.

Теперь о свободе: подлинной и мнимой. Сначала давайте определимся с самим понятием «свобода». Существует множество различных определений: этических, философских, наконец, правовых. Суммируя их, я бы назвал «свободой» осознанный выбор, который человек делает и за который несёт ответственность. Даже в тюрьме человек может быть свободен. Во всяком случае, внутренне.

Абсолютной свободы не существует. Человек не живёт в пустыне, а следовательно, его свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя», — эту простую и точную мысль вождь мирового пролетариата товарищ Ленин сформулировал ровно 80 лет назад, но она не потеряла актуальности. И Пауль, как ответственная личность, понимает, что реальную свободу человеку — свободу жить как Человек, развивая лучшие качества, заложенные природой, — может дать только социализм. Потому что именно социалистическое государство представляет своему гражданину идеальные условия для самореализации: бесплатное и высококлассное образование, бесплатное жильё, гарантированную работу в трудоспособном возрасте, оплачиваемую пенсию в старости, и этот список можно продолжать. Паулинхен же, который с удовольствием пользуется этими очевидными преимуществами социалистического строя, хочет другой, сладкой жизни: чтобы в обычном гастронOME можно было купить всё, что сегодня есть только в «Интершопе», чтобы ездить не на «Трабанте», а на «Мерседесе», чтобы отдыхать не в кемпинге на берегу Балтийского моря, а где-нибудь в Италии, чтобы в телевизоре был не Карел Готт, а Depeche Mode, Duran Duran и эротика после полуночи.

Паулинхен не хочет осознать очевидное: за внешним лоском скрывается изощрённая эксплуатация единицами богатееров миллионов трудящихся. Такая, что ежегодно тысячи жителей ФРГ сводят счёты с жизнью, будучи не в состоянии не то что купить «Мерседес», а обеспечить себя и свою семью самым необходимым. Глупенькому Паулинхену, чья жизнь целиком прошла в ГДР, в стране с едва ли не самой передовой в мире системой социального обеспечения граждан, видна только отлакированная пропагандой внешняя сторона капиталистического общества. Он ведётся на разговоры о свободе и демократии, не зная, что почти 20 лет назад живущий в Гамбурге известный западногерманский публицист Пауль Зете в письме в редакцию журнала «Шпигель» максимально цинично

и открыто сформулировал отношение своего общества к понятию свободы. «Свободен тот, кто богат», — указал он. Вот и выходит, что свобода так называемого свободного мира на самом деле фикция. Мнимая свобода для ограниченного круга толстосумов.

Повторю для Паулинхенов: подлинную свободу личности обеспечивает лишь социалистическое общество, в котором человек освобождён от необходимости ежедневной конкуренции с себе подобными, от постоянных гнетущих мыслей о своём личном экономическом благосостоянии и от страха за завтрашний день. Паулинхенам пора перестать пускать розовые пузыри о сладкой жизни в чуждом нам мире, а стать, наконец, Паулями, уверенно работающими на благо первого социалистического государства на немецкой земле.

Маркус Фишер».

Мир в моей голове совершил кульбит. Это был, вне сомнения, стиль моего отца: хлёсткий, резкий, бескомпромиссный. Сколько бы общих слов ни было в этом тексте, он однозначно был обращён непосредственно ко мне. И, значит, отец видел во мне недоумка, маленького ребёнка, элементарно купившегося на рассказы о сладкой жизни. А ведь я говорил ему о своих проблемах со «Штази», хотя, разумеется, не делился планами побега.

И снимок в статье, я точно знаю, был вклеен в фотоальбом, хранившийся в югославской стенке в доме отца. Даже и не знаю, что ударило сильнее: этот беспощадный текст или фотография, иллюстрирующая его. Откуда ей было там взяться, если только отец сам не передал её редакции? Как он мог так поступить со мной?

— Как он мог так поступить со мной, кажется, спросили вы, — услышал я голос следователя, о существовании которого совершенно забыл в эти минуты. Видимо, последний вопрос я произнёс вслух.

Тем временем Мюллер снова сел за стол напротив меня, взял в руки газету, аккуратно свернул и убрал её в стол.

— Вас действительно это интересует, Фишер? Тут всё просто. Наши сотрудники встречались с вашим отцом, и он сделал правильный выбор, рассудив, что враг в лице

министерства госбезопасности вряд ли полезен для его дальнейшей карьеры и жизни в ГДР. Тем более что вам он помочь уже не в состоянии. Поэтому он согласился с нашей просьбой: предупредить других людей, которые могут пойти по вашим стопам и непременно окажутся на вашем месте.

— Вы лжёте. Мой отец не мог предать меня. Он никогда не был предателем.

— Гордиться отцом вполне естественно для сына. Но тут вы заблуждаетесь. Вашему отцу не впервой предавать близких ему людей.

— Можете не стараться. Я всё равно не верю ни одному вашему слову.

— И напрасно. Когда вы в следующий раз встретитесь с отцом, а рано или поздно это произойдёт, спросите его о судьбе пастора Вагнера. И вспомните этот наш разговор. И свою наивность. На этом, думаю, мы можем на сегодня закончить.

Он нажал кнопку под столом. Открылась дверь кабинета, на пороге застыл конвоир.

— Допрос окончен. Верните подозреваемого номер 125 в камеру.

— Подождите, гражданин следователь. Раз уж у нас сегодня день подарков, то теперь моя очередь сделать подарок вам. Берите протокол. Пишите: «Я, Пауль Фишер, признаюсь в попытке побега с территории Германской Демократической Республики. С этой целью я направился в Больтенхаген, намереваясь по кратчайшему пути преодолеть пролив, разделяющий ГДР и ФРГ, на самостоятельно спроектированном и изготовленном плавсредстве. Мне никто не помогал, в свои планы я никого не посвящал». Где я должен подписаться?

Глава 8. Маркус Фишер. Закон кармы

Меня разбудили переливы смеха. Обладателя этого голоса я узнал бы из тысячи и с закрытыми глазами. Он принадлежал Анне-Лизе, моей единственной и любимой внучке. Я открыл глаза и тут же снова их закрыл.

Для Анны-Лизы не существовало, как она любила говорить, «буржуазных ус-

ловностей». Это касалось всего: причёски, одежды и даже личной жизни, для которой она с некоторого времени выбирала себе людей исключительно своего же пола. Вот и сейчас её сбегавшие на открытые плечи волосы были окрашены в немыслимую комбинацию из красного, зелёного, жёлтого и коричневого цветов. К этому прилагались жёлтые тени на веках, ярко-красная помада на губах и большие пластмассовые серёжки в виде ромашки ядовито-зелёного цвета. Далее следовала заканчивающаяся чуть ниже груди чёрная майка, хаотично расписанная непонятными иероглифами. Между её краем и чёрным украшенным белыми черепами поясом, вставленным в то, что когда-то называлось джинсами, а сейчас представляло собой весьма короткие шорты, спускавшиеся к коленям полосками художественно изрезанной ткани, красовался стройный, без грамма лишнего жира девичий живот с начинающейся прямо от пупка татуировкой какого-то монстра в шлеме. Образ дополняли длинные, чуть выше колена гольфы и мужские ботинки: красный — на правой ноге и зелёный — на левой. Гольфы — красный и зелёный — были надеты зеркально.

— Ладно, дед, хватит изображать вселенский ужас, открывай уже глаза. Я знаю, что ты меня видел. Привет.

— Привет, Анна-Лиза. Какой такой вселенский ужас? Просто ты, как всегда, выглядишь сногшибательно. От такого набора цветов я могу лишиться остатков зрения.

Несмотря на колоссальную разницу в возрасте, мне общаться с ней легко и приятно. Анна-Лиза — единственное, что связывает меня с Паулем. Сын тогда получил семь лет тюрьмы за попытку побега из ГДР, но срок жизни осудившей его страны оказался короче назначенного ему судом приговора. Пауль вышел на свободу, но наотрез отказался от какого-либо общения со мной.

Прошло много лет, но я до сих пор помню ощущение беспомощности, которое возникло после нашей встречи сразу после его возвращения из тюрьмы. И ещё полной бессмысленности происходящего. Пауль никогда не был экстравертом, поэтому я особо и

не ожидал, что взрослый сын, тем более после всего, что с ним случилось, бросится мне на шею. Но и того, что произойдет, предвидеть не мог.

Мой сын стоял у окна, против света так, чтобы я видел только его силуэт. Он обвинял меня в предательстве, с мёртвой отрешённостью показывая, что я для него умер, и никакие аргументы, никакое чудо не повернут течение истории вспять. Тот его монолог, в котором уже не было боли, до сих пор звучит у меня в ушах. «Ты всё время врешь, — даже не повышая голоса, твердил он мне в лицо, — ты предал меня, как когда-то предал пастора Вагнера. И не пытайся оправдываться. Следователь сделал мне «чудесный» подарок на день рождения, показав тот самый выпуск «Нойес Дойчланд», в котором ты в прекрасном стиле — да, ты ведь у нас золотое перо ГДР — выставил своего сына инфантильным юнцом, который пытался бежать на Запад ради сладкой жизни. «Паулинхены и мнимая свобода» называлась та статья?

Да что ты вообще понимаешь в свободе? Ты всю жизнь служишь системе, ты заперт в клетку собственных страхов, ты просто предал меня, когда на тебя лишь слегка надавили. А фотография? Зачем ты отдал её в их грязные руки? Выполнял приказ, чтобы сделать мне побольнее? Уходи, нам не о чем говорить».

Он больше не произнёс ни слова. Так и стоял, отвернувшись к окну, пока я не закрыл за собой дверь.

Умом я понимал, что эта партия, скорее всего, проиграна вчистую и доверие сына мне, наверное, уже не вернуть. Но сердце отказывалось сдаваться. И я отправился в редакцию, хотя прекрасно знал, что невозможно найти то, чего никогда не существовало.

В «Нойес Дойчланд», которая после распада ГДР и воссоединения Германии довольно быстро скатилась до уровня регионального издания, чьи читатели проживали в основном на востоке страны, у меня тогда ещё оставалось немало знакомых. Пока мы пили кофе с главным редактором, коллеги нашли в подшивке нужный экземпляр газеты и даже сделали мне полную копию. Большую

часть второй страницы занимал репортаж о визите в ГДР советской делегации, прибывшей на конференцию стран СЭВ по вопросу обмена опытом в сельском хозяйстве.

Я отправил копию Паулю с большим письмом, подробно рассказав историю ареста пастора Вагнера. «Не всегда стоит верить даже собственным глазам, сынок. В созданных системой параллельных реальностях так же легко запутаться, как в зеркальном лабиринте. Иногда, чтобы найти выход, надо разбить зеркала», — написал я. Конверт вернулся нераспечатанным.

Рождение Анны-Лизы ничего не изменило в наших отношениях. И тому, что у меня есть внучка, я обязан Эрике — первой жене Пауля. Она приводила мне ребёнка хотя бы раз в месяц, по выходным. Несмотря на скандалы, которые Пауль закатывал ей после каждой нашей встречи.

Анна-Лиза, которая никак не могла понять, почему двое её любимых мужчин не разговаривают друг с другом, повзрослев, устроила мне допрос с пристрастием, и, услышав мою версию произошедшего, приняла ещё одну, впрочем, безуспешную попытку помирить нас с Паулем, после чего махнула на всё рукой, смирившись с ролью передаточного звена.

— Как отец, Анна-Лиза?

— Давно его не видела. Мне в последнее время стало совсем невмогуту с ним общаться. После развода с очередной женой — уж не помню, третьей или четвёртой — он совершенно потерял контроль над собой.

— Пьёт?

— Напропалую. Большую часть дня проводит в соседней кнайпе и, кажется, совсем свихнулся на политике. Как выпьет больше меры, начинает или ругать Меркель и мигрантов, или рассказывать, как прекрасно жилось в ГДР. И всё повторяет, какой идиот он был, когда пытался сбежать из той прекрасной страны. Правда, потом снова вырывается на предательницу Меркель, отказавшуюся от идеалов своей социалистической молодости, и мигрантов — бандитов-нахлебников. Тошно. Мне политика близка так же, как квантовая физика.

— Между социалистической ГДР и империалистической ФРГ нет и не будет единства. Это так же верно и ясно, как то, что дождь падает на землю. Мы — победители истории! — вдруг раздалось с соседней кровати. Видимо, Мюллеру в этот момент снова почудилось, что он вернулся в ГДР и то ли сидит в зале Дворца республики во время очередного партийного съезда, то ли стоит на трибуне первомайской демонстрации. В его водянистых глазах замелькали какие-то искры, лицо исказила улыбка, из уголка рта текли слюни.

Впрочем, как и в первый день в палате, эта вспышка активности была недолгой. Мюллер посмотрел на Анну-Лизу, и блаженная улыбка на его лице сменилась маской ужаса. Оно и понятно: моя внучка бесконечно далека от сохранившегося в его памяти образа активистки Союза свободной немецкой молодёжи.

— Коммунизм — это молодость мира, и его возводить молодым! — уже без прежнего энтузиазма выкрикнул Мюллер, сжался в комок и с головой ушёл под одеяло.

— Какой забавный старикашка! Он буйный, да? Тебе не страшно быть с ним рядом? — Анна-Лиза никогда не отличалась тонкой душевной организацией.

— Этот, как ты сказала, забавный старикашка когда-то посадил в тюрьму твоего отца. Это бывший майор «Штази» Андреас Мюллер. Во всяком случае, он был майором, когда изъявил желание встретиться со мной после ареста Пауля. Может, потом и до полковника дослужился...

— А что он от тебя хотел?

— Он требовал, чтобы я написал статью, в которой, используя судьбу собственного сына в качестве примера, объяснил бы молодым интеллектуалам всю пагубность попыток сбежать из страны. На закате ГДР число желающих перебраться на Запад исчислялось тысячами. И в основном сбежать из социалистического рая пытались молодые и хорошо образованные люди. Такие, как твой отец.

А когда я отказался помогать «Штази», они сами написали такую статью и даже напечатали один номер газеты, чтобы убедить Пауля в моём предательстве, сломить его

волю к сопротивлению. И, как ты знаешь, им удалось заставить его поверить, что я предал собственного сына.

Страшно ли мне? Я и тогда-то не особо испугался, что уж мне теперь его бояться. Он же на пожизненном заключении. Собственным мозгом заточён в тёмную камеру без окон, права на еженедельную прогулку и встречу с родственниками.

— Дед — это викарма, — значимо произнесла Анна-Лиза. Моя внучка ещё и буддистка немного.

— Анна-Лиза, ты меня пугаешь, — я изобразил на лице ужас непонимания. — Я знаю в общих чертах, что такое карма, но то слово, которое ты произнесла, мне неизвестно.

— Это просто. Каждым поступком человек может создавать как положительную — акарму, так и викарму — разрушительную карму, которая ведёт к бедам и несчастьям. Закон кармы говорит: нанося вред окружающим или поддаваясь негативным установкам, мы в первую очередь наносим вред самим себе. Поэтому вы с ним вроде бы в одной палате, но карма у вас разная: ты свободен, а он — в тюрьме. Ну вот чему ты опять улыбаешься?

— Много лет назад нечто подобное сказал один человек, заменивший мне родителей и спасший мне жизнь. Правда, думаю, он и слова такого не знал... Карма. И кстати о старикашке. Мюллер меня моложе на 10 лет. По твоей логике я тогда вообще тухлявый пень.

— Прекращай. Ты не молодой дубок, конечно, но и до пня, а уж тем более тухлявого, тебе ещё далеко.

Ладно, мне пора бежать. Я вообще-то зашла извиниться. Не смогу очно поздравить тебя с наступающим девяностолетием. Мы послезавтра с Мелиссой — только не делай вид, что ты не помнишь, кто такая Мелисса, мы вместе уже полгода — улетаем в Австралию. Там будем совершенствовать свой английский и работать в национальном парке Коуну Коала Парк. Представляешь, там могут разрешить погладить и поддержать в руках настоящую коалу.

— Решила вернуться в детство. Ты маленькая, помню, засыпала только со своей серой плюшевой коалой.

— Ага. Я звала её Джуна. А как я рыдала в восемь лет, когда мама выбросила её на помойку. Да, у неё отсутствовал один глаз, что-то сыпалось из дырки в ухе, и левая лапа держалась на честном слове. Но это была моя, моя Джуна. Выздоровливай. И держись всё-таки подальше от этого. Мало ли что ему привидится, ещё укусит, — рассмеялась она, быстро и звонко поцеловала меня в щёку, и эхо её затихающего смеха, словно капельки тумана, осело в мягком ковровом покрытии больничного коридора.

...А где-то, наверное, через час — время в больнице тянется невыносимо медленно — пришёл Ашур. Санитар катил перед собой кресло-каталку, на спинке которого лежало тёплое больничное одеяло в коричнево-белую клетку.

— Добрый день, господин Фишер. Как сегодня ваши дела?

— Добрый день, Ашур. Спасибо. Вполне соответствуют возрасту.

— А я за вашим соседом. Побудете несколько дней в одиночестве. Не страшно?

— И куда его?

— В специальный дом престарелых. Для пациентов с тяжёлой деменцией. Врачи сказали, что у него нет ни малейшего шанса на реабилитацию.

Ашур легко поднял Мюллера с койки, усадил в каталку, заботливо укутал одеялом. Сморщенная голова с полуприкрытыми старческим веками глазами безвольно запрокинулась набок, словно шея была больше не в состоянии удерживать такую тяжесть. В этот момент, укутанный в шахматное одеяло, словно в смирительную рубашку, он напоминал старую куклу, зачем-то брошенную в клетку. Казалось, он совершенно не понимал, что с ним происходит. Когда Ашур покати каталку к двери, Мюллер приоткрыл глаза и отчётливо произнёс: «Только социализм придаёт смысл и содержание вашей жизни. Будьте самоотверженными и настойчивыми, верны идеям и преданны своему социалистическому отечеству, Германской Демократической Республике», — и посмотрел на меня пристальным взглядом. Хотя, может быть, мне это лишь показалось.

Вот только я буквально физически почувствовал, как вслед за ним закрылась дверь в моё прошлое. И, сам того не желая, провалился в сон.

Эпилог

Меня разбудили резкие звуки. Они приближались, нарастали, заполняя собой пространство. Казалось, в городе не могло остаться ни одной не оккупированной ими улочки, переулка, тупичка. Звук всё усиливался, отражаясь от стёртой столетиями брусчатки мостовой, от стен застывших в ожидании домов, и казалось, даже от склонов расположенных вдали Рудных гор. К основному звуку примешивался тихий перезвон дрожащих, словно в испуге, стёкол, шелест резины и грозный лязг металла. Образовавшаяся какофония доминировала над городом, поглощая все привычные звуки — плохо различимые голоса людей, лай собак, шум дождя, завывание ветра.

Я быстро собрался и пошёл к ратуше вслед за удаляющимся звуком. Внутренний голос говорил, что спешить уже некуда, что сегодня, 25 июня 1945 года, заканчивается короткий, но очень важный, наполненный пьянящим чувством неизведанной доселе свободы этап моей теперь уже по-настоящему взрослой жизни. Да и жизни Шварценберга тоже.

У ратуши толпились горожане. Чуть в отдалении расположились с десяток солдат в полевой форме, которую мне ещё не доводилось видеть. Большинство жителей смотрело на пришельцев с неподдельным испугом. Перед входом в здание застыли два открытых армейских автомобиля с красными звёздами на капоте и надписями на неизвестном мне языке, нанесёнными на борта

белой краской, пара немецких мотоциклов с пулемётами на коляске, явно лишившиеся прежних хозяев. На ратуше висел большой красный флаг, частично прикрывая старинную тяжёлую входную дверь, возле которой вместо ребят Корба теперь стояли двое автоматчиков. Замершее время тянулось, словно патока из конфет моего теперь уже бесконечно далёкого детства.

Так прошло несколько часов. Солдаты на площади перебрасывались шутками, горожане тихо переговаривались между собой, но никто и не думал расходиться.

Уже вечерело, когда дверь открылась и на крыльцо вышли Вилли Ирмиш вместе с относительно молодым, но уже изрядно поседевшим, не улыбочным военным.

— Уважаемые жители Шварценберга, — заговорил Ирмиш, и на площади вмиг стихла людская разноголосица, уступив место напряжённой тишине. — Мы долго ждали этого дня, и наши друзья-освободители, наконец, пришли. Согласно распоряжению командования Красной армии, отныне вся власть в городе переходит в руки военной комендатуры во главе с капитаном Поповым.

Ирмиш кивнул головой в сторону русского командира и продолжил.

— Его первым распоряжением наш Антифашистский комитет распущен. Мы прошли с вами трудный, полный лишений путь освобождения от национал-социалистической диктатуры. Призываю горожан оказать новой власти всяческое содействие. Возврата к прошлому нет. Уверен, что с помощью советских товарищей мы построим светлое будущее для немецкого народа.

На этих его словах заходящее солнце, словно прощаясь, бросило последний короткий багровый луч на город и скрылось за Рудными горами.

Частое дыхание



«Вещь» запускает новую рубрику — «Территория». Ее задача — представлять независимые издательские инициативы, публиковать коллективные подборки авторов, которые принадлежат к локальным территориям литературной карты страны. Открывают рубрику авторы издательства «всегоничего».

Редакция

«всегоничего» — маленький издательский проект, который выпускает маленькие книжки с короткими и совсем короткими текстами — стихами и прозой. В фокусе проекта не исключительно классический минимализм (минимальный объем + минимальные средства), но по возможности широкий спектр самых разных типов письма, реализующихся при этом в маленьких текстах. Утопическое стремление проекта — сложить максимальное количество таких текстов в связный узор как бы из маленьких камешков разного цвета и формы — так, чтобы в них в результате отразилось и преломилось всё и сразу.

Андрей Черкасов

война на унижение
на уни(что?)жение

памятник Орлу в Грозном

ты и я

восемь я

уицраор
клацает зубами

первородный грех

других нет проблем

два хороших слова:
тонкач
и точняк

Время весенних дождей

Все жалуются на погоду, а я ее защищаю
как собственного ребенка.

Выехал на прогулку и угодил в дождь.

Сперва заморосило: куча маленьких
баловней навалившись целовала лицо.

Затем то низвергался то слабел водопад.

Тяжелые струи как волоса красавицы.

Небо над крышами: штормовое море
перевесившееся вниз головой.

И наконец задождило ровно и беспросветно
по всей округе.

Крыши спали укутавшись в небо. Оно тоже
глядело вверх все более сонно.

В городе с богатой и древней историей
шел дождь с историей древней и богаче.

Пережидал в машине любуясь каплями
на стекле.

Не рисовать ли их по одной?

В увеличительном стеклышке каждой капли
деревья предстают дактилоскопическими
узорами.

Вовне дождь. Внутри солнце.

одна старуха сидит у окна уже сто лет, под носом у неё паутина с мухами, на голове гнездо с дроздами, под юбкой размножились кролики. окно открыто, воздух трепещет у неё в ноздрах. она сидит и думает: от меня пахнет домом, от меня пахнет домом. когда-то давно она присела у окна немного отдохнуть и замерла, потому что её внезапно пронзила красота мира. как же я прожила столько и не видела такой красоты? — подумала старуха. она сидит, не может оторвать взгляда от окна. окно её находится напротив мусорных баков. каждый вечер в девять часов приезжает мусоровозная машина, выгружает мусор из баков. днём постоянно кто-то приходит, выкидывает мусор, старуха помнит, кто в какой одежде, кто что выбрасывает. много раз она собиралась выйти из дома, но боялась, что не найдёт дорогу обратно. под окно приходят туристы, любители экзотики, направляют свои объективы на старуху, фотографируют. ей хочется крикнуть им: кыш! кыш! но пронзительная красота момента приклеивает её язык, и он не двигается.

одна старуха сидит на полу, чувствует, как пахнет от неё домом, думает: я больше не чувствую над тобой своей власти — и от стены отваливается штукатурка, думает: я больше не чувствую над собой твоей власти, дом, — и шиферные листы сползают по крыше вниз. я больше не чувствую, — думает старуха, но долго не может продолжить мысль. она понимает, что больше не чувствует, но чего именно, не знает. я больше не чувствую, — думает она, и половицы в доме начинают скрипеть. я вас не слышу, — думает она, — я вас не слышу. и половицы замолкают.

одна старуха стоит на крыльце. и все-то и каждому-то ей хочется сказать о любви ко всему. а только говорит она другое: как дела? а ну-ка свали с нашей улицы! что за лешак тебя опять приволок? а ты отойди от моей калитки! прохожие шарахаются, называют её лешачья бабка, называют её противной и выжившей из ума. а ей хочется говорить: подойдите ко мне все прохожие, отжените от меня тоску, я всех вас люблю. но говорит она всё другое: и ты тут, плюгавенький! видела тебя вчера с твоей вешалкой, видела! пристала к тебе как банный лист! сосед убегает скорее, а старуха почти что плачет: говорить о любви за всю жизнь не привыкнула, и теперь тоже язык подводит, ругается, вот и всё.

Сергей Васильев

Из книги «49. Роман воспитания»

глава двадцать девятая неделя вторая

Вечное возвращение, ускользание по диаметру. Краснообские дервиши кружат в пыли.

Она говорит: «Сколько пива, столько песен».

(разнонаправленный вектор отбора фактов, их мозаичность)

Когда музейные ноги случаются от прогулок по лесу, чувствуешь всю глубину засевшего антропоцентризма, но в конечном итоге куда смотришь — туда и растёшь. Корневое движение на ступеньках курилки.

Она говорит: «А вы не знаете, чей это поцелуй?» Она настаивает: «Покажите мне полумрак».

Говорить из практики, а не о практике.
(влияние лунного света на рост телеграф-
ных столбов)

Занятия в кружке пропитых стихий могут
и утомлять. Предчувствие мёртвого голубя,
пальмы на фоне оленей, пустое место от зем-
ного шара — картография идеологий.

Место увеличивает голос.

Артём Верле

проснулся от хлопка мышеловки

откуда у меня мышеловка?

наверное это чужая мышеловка

начинаю писать длинное стихотворение

а заканчиваю писать короткое
стихотворение

чтобы не забыть
запишем что было тепло

записываем

ну теперь
ещё теплее

нужно и это записать

покупаем старую машину

потом купим старый дом

а потом и сами состаримся

о, вот и смерть:
здравствуй, смерть!

о, вот и космос:
космос, привет!

а эти дети
бегущие наперегонки —

их нет

Данила Давыдов

Из книги «Не рыба»

КОВЕР

Странно вспомнить год двенадцатый,
камин, ступни хозяев у лица. Когда произо-
шла революция, товарищ Вулин потребовал,
чтоб все гениженерные организмы обрели
человеческий облик. На это пошла большая
часть денег республики, поэтому при начале
интервенции средств не хватило, товарищи
Вулин, Зनावерович, Жексон, Раванданат и
другие переместили столицу на Титан, а я там
же и в прежней должности, целую ноги го-
сподам, но когда я был ковер, это было лучше.

МОРГУЛИС БЫЛ НЕ ПРАВ

Кацавейков, Шилов, Моргулис и Минад-
зе сидели на скале третий день. Собственно,

Минадзе и Шилов уже лежали. Кацавейков, спросил Моргулис, они не прилетят? Прилетят, убежденно сказал Кацавейков. А мне вот кажется, что нет. И он, разбежавшись, бросился со скалы. Тут Кацавейков услышал гул. Они прилетели. Моргулис был не прав.

РОЗЫГРЫШ

Что у вас нового, потирая руки, спросил доктор. Вот, Валечка обнаружила. Ну-с приступим. Ха. Ха-ха. Как он вообще был жив? Это манекен, доктор, Валя потупилась. Остроумно, сказал доктор, а вы, Грючикова, Павлюкевич и Михайлов уволены. И труп свой заберите.

ПОХОРОНЫ

Когда мы хоронили Михаила Ивановича, я почти плакал, думал, как же мало сделал-то он. Пили уныло, поминая его, быстро разошлись. Я лег, перегорела лампочка, я хотел перечитать Лакатоса, но как без света-то, поэтому говорил себе наизусть Ходасевича, пока не отрубился. Во сне явился Михаил Иванович, он был с крылами, говорил, что поможет всех спасти. Я не поверил.

ПОПРАВКА В ИЗОБРАЖЕНИИ

Устало потягиваясь, Ряховец сказал: ну, пока идите, Герасимов. Герасимов вышел из избы. Он ничего не сказал и ничего не подписал, но чувствовал, что теперь все равно навсегда замаран. Было раннее утро, река текла медленно-медленно, скрываясь за холмистым изгибом. Здесь, на этом месте, внезапно подумал Герасимов, хорошо бы поместить пару яблонь. Он стер избу с сидящими внутри майором Ряховцом, писарем и конвоирами, нарисовал яблони. И пошел в сторону реки, что-то насвистывая.

Иван Курбаков

Из цикла «Сады и молнии»

кисти, гроздь, плющи

и у них есть я

это не оно вьется

карабкается и вызревает

быть далеко

как сырая пустошь

с маленькими святыми котятками

огонь — точка

и тыл зимы

течение оранжевой раны

и изделия смеха

протуберанцы и маски

чистое дыхание становится частым

пеленой ясности

как укрыть безутешное говорение

видишь и не просыпаешься

поговорить
обняться пальцами
столкнуться
опустить кончики цирроза
в струнные стаканчики квартета
стекающего по тонким стенкам неба

микрофоны и камеры мира

кактусы

в сколах чьих случается счастье воды

на марсе бывает снег
рождество
подарки
неизбежный алкоголь
и
невыносимое одиночество
которое убивает снег
делая его тише как звук телевизора
во время рекламы

речевой фермент

в сети влюбленностей

зачерпывая

движениями письма

в покере иногда как в видеоигре
можно получить дополнительную жизнь

Андрей Сен-Сеньков

у петра ильича сегодня флеш-рояль

бессимптомная пиковая дама
тоненькой клавишей обещает карточное
неглиже

**Из книги «Чайковский с каплей
Млечного пути»**

петр ильич краснеет и накрывает большим
пальцем
пиковые коленки дополнительной смерти

на астероиде апофис
стоит старинный город воткинск
и течет река полная солнечной вотки

воткинск убийственно медленно
приближается к земле

хочет угостить
уничтожить

пусть на горе олимп
на марсе
живут мальчики
у которых ключицы острые как пилочки
для ногтей
и хрустящие как последнее в жизни печенье

похоже на предсказание
очертание фигур сквозь туман

сумерки
еще острее
комариный писк

осторожно
это моя половина
неба

сквозь листопад
размазанное пятно на фото
летающий пес

пошла в отрыв
верхняя пуговица
на блузке

повезло комару
Шаббат

Из цикла «стой значит беги»

далёкое
письмо

близкое

как
по крови
родство —

детское
дерево-взрыв

шар

мокрого

снега

в каждом
неловком
шаге

— несогласные
звуки

звери
имеют
гнезда

птицы —
норы

для
прорывной

боли

апрельское
терпение
— мальчики

идут

через
снег

в темноту
света —

отбрасывает

их тени

и прошлое
станет

— весёлая
кровь

имя

и память
сотрётся —

шумовой

полосой

стой
значит
беги

проникнуты

одним
страхом

подкожным

цветом

где
стреляют

только
земля
и может

цена
сна —

распознавание
лиц

чужой
речи

пейзаж

содержит

фигуры
облака
небо

стены

— смотри —

прозрачные

Алексей Рачунь

Дорога из Кумарино в Прёт

1.

Хмурой, нескончаемой пятницей уезжал я из Кумарино в Прёт. Не по делу и не просто так, а по какой-то непонятной тяге. Что-то меня влекло.

Сойдя с тощим рюкзаком с подножки маршрутки на привокзальной площади, я уже собрался было идти к билетной кассе, как обнаружил, что стою аккурат в псиной блевотине.

Закурил. Задумался. Сколько раз уже я в неё ступал?

Собачья пасть кассы выплюнула клочок бумаги, извещавший о том, что место моё в микроавтобусе — тринадцатое и что отшествие его через час. А ботинки уже начинали вонять давешними собачьими харчами. Мухи

роились возле обуви, то припадая к брызгам, то, при шевелении ногами, разом отлетая от них. Выглядела сия пульсация как бесконечная череда микровзрывов. Зреть их было занятно, а обонять нет. Купить воды для мытья башмаков и пива для омовения души — это показалось мне разумной мыслью. Тем более, других и не было. Потому и направился я к шеренге тоскливых облупившихся ларьков.

В одном из них работала моя бывшая одноклассница Люська Дичугина. Дичь.

Вымыв обувь и глотнув из банки пива, я сообщил ей, что, мол, поехал в Прёт, зачем, не знаю, и, может быть, оттуда ломанусь автостопом в Крым. Или в Мурманск. Дескать, север-юг, какая разница. Нигде жизни нет, но везде живут как-то.

— Живут? Не ***** [ври]! Где ты видел, чтобы кто-то жил. Это не жизнь, а житие какое-то, — сообщила, жуя жвачку, Люська.

— Твоя-то точно житие, — подколот я Люську.

— А то! А так ты молодец, конечно, чё! Сваливаешь.

— Так уж какой раз, — отмахнулся я.

— Тогда не молодец, — согласилась Люська. — А я вот мужа своего вчера отколошмтила. Упырь ибо. Всю кровь из меня высосал...

— Так ты брось его.

— Кого?

— Упыря своего.

Дичь взглянула на меня искоса.

— На хрена?

— Что на хрена, — настала моя очередь недоумевать.

— На хрена бросать?

— Ну, коли он упырь, брось его.

— Ой, а то другие не такие же! Еще хуже! Кругом одни упыри. Все только и делают, что кровь сосут. Мужья у жен, жены у мужей, дети у родителей, родители у детей... И даже незнакомые и малознакомые люди друг у друга. Вот ты сидишь тут, сосешь пиво, а я у тебя сосу кровь. Чё ты ухмыляешься, слегонца, но подсасываю...

— Что еще умеешь подсасывать? — едва спросив, увернулся я от пущенного калькулятора.

— Договоришь, будешь физраствор из капельницы сосать, — беззлобно сообщила Люська.

— Это потом. А я у кого кровь пью? — меня стала занимать забавная Люськина теория.

— Ты-то? — Люська задумалась. — Не знаю. Ты же у нас один, перекасти-поле, оторви-да-выбрось... Ну не пьешь, так будешь. Так жизнь устроена.

2.

Объявили посадку. В микроавтобусе подбиралось общество: бородатый мужик с «Советским спортом»; девка с испуганным лицом; две зло зыркающие, шуршащие бабки; клочковатый, бомжеватый, нервный мужичок; ещё пассажиры.

Поехали. Я задумался. Глядя через запыленное заднее стекло с выведенной пальцем надписью «вьобюл = ичах + ашаМ», я вдруг вспомнил прапорщика Зарембо, старшину нашей роты — заповедного баклана, крошившего башкой кирпичи. Он говорил нам, салагам-первогодкам: «При стремительном наступлении, ушлёпки, нужно чаще оглядываться назад, чтобы узнавать при отступлении местность».

Вот и сейчас я глядел на дорогу, разбитую и кривую, с захламленными обочинами, неряшливыми остановками, тощими кустами, толстыми блядами, и не мог ее узнать. Сотни, тысячи раз ездил я по ней из Кумарино в Прёт и обратно. Знаю каждую выбоину, каждый дорожный знак — и вот не узнаю! И со всякой дорогой у меня так — тянется она, тянется, неохожая, как беда, и неотступная, как тоска, а приглядишься — будто и не ходил вовсе.

— Слушай, дай пивка глотнуть, а? — клочковатый мужичок моляще на меня взирает. — Так болею, так накрывает. Дай, не в падлу?!

Я протянул ему едва початое пиво.

— Забирай!

Мне уже не очень-то и хотелось. А Клочковатый присосался жадно, аж защёлкали, сжимаясь от вакуума, стенки пивной банки.

— А ты куда едешь? — подлечившийся Клочковатый заметно повеселел.

— В Прёт.

— И я в Прёт! А зачем?

— К брату, — зачем-то соврал я ему, никакого брата у меня не было.

— И я к брату, — не унимался Клочковатый. — У него пасека. Не простая, однако. И мёд не простой. Братан — это хорошо! Это мы понимаем, это мы приветствуем...

Клочковатый глянул в опустевшую банку и вдруг пустил в неё длинную, от губы, слюну.

— Непростой медок-то, ох и непростой, — продолжил он так же вдруг, еще не оторвавшись от губы верхний край слюны. — Слышишь, собирают его не пчелы, а шмели его княжьи собирают.

Впереди кто-то хмыкнул.

— Зуб даю! — вполоборота, обращаясь ко всем сразу, сообщил Клочковатый. Затем он вынул из кармана носовой платок,

запустил два пальца себе в рот, за щеку, пошевелил ими там, и вдруг вынул зуб.

Обведя рукой с зубом пространство вокруг себя, обтерев зуб со всех сторон носовым платком, он споро вставил его обратно. Поглядел затем на намокший от зубной слюны платок, разложил его на колене, любовно расправил, погладил пальцами узор по кайме.

— Носогреечка! — с каким-то неуместным тщеславным вещизмом заключил мой сосед и убрал платок в карман.

— ...ага, по услуге и заслуги, брательник их посылкой получил, в этом, как его, анабиозе, — продолжил Клочковатый как ни в чём не бывало спустя минуту. — Они не в ульях живут, а на ветках, как птицы. А по утрянке, слышь, в дальний лес улетают, в самую чащобу, в самую тьму — и где-то там такой медок добывают, черный, пахучий: съешь ложечку и как поперет... Лучше, чем твои грибочки. Грибочки-распоганочки.

Я улыбнулся Клочковатому той сдержанной улыбкой, что вроде бы и позволяет держать внезапного собеседника на расстоянии и в то же время не раздражает его. Ну а как ещё разговаривать с психами?

Хотя про грибочки он почти угадал. Угощался пару раз, было дело. Даже ходил однава со случайными такими же путевыми знакомцами по грибы. Собирал, впрочем, лишь те, на которые мне указывали. Да вот и да-веча...

— А на зиму, слышишь, шмели эти княжи, в землю зарываются. В те слои, что не промерзают, шурфы бурят, тем и живы. Ох и медо-о-о-к... Еду к братанчику на жёлтом танчике...

Псих! Точно псих! Из Штыринского интерната сбежал, из-под стражи, и петлёю заячьей ломит в Прёт. К брату, ага, как же! Это он подхватил просто. Сказал бы я — еду к сестре, и он бы к сестре поехал. Ему без разницы, к кому ехать, он и так поехавший.

Я почесал в задумчивости голову, и Клочковатый сделал так же. Мне это очень не понравилось. Пересесть бы, да куда ты переседешь в забитом под завязку микроавтобусе.

Автобус подбросило на вираже, и всех швырнуло в креслах. Участились выбоины,

и автобус лавировал между ними, как под вражеским огнём.

— Место у меня неудобное, — сказал Клочковатый. — Пересесть бы, да некуда.

Как ему это удастся? Как бы не убил или в падучей не скрутился. Псих, всяко! А я ему пива ещё дал... Я примолк и ушел в свои мысли.

Жизнь моя что? Жизнь — это круговорот событий, спираль. Взять спираль электроплитки или, скажем, обогревателя — очень часто витки перепутываются, и наступает замыкание. От любого еле ощутимого сотрясения они путаются, витки эти.

— Трамвайка, — вдруг сказал Клочковатый. И, видя моё недоумение, продолжил. — Печка под сиденьем жарит, спасу нет. Эй, водила, печку можешь отключить? Поставил дополнительную печку в салон, чтобы зимой пассажиры не мёрзли, — объяснил Клочковатый.

Выглядел он сейчас вполне нормально.

— Поставить — поставил, а заслонку забыл переключить, — продолжил он.

— Сделано! — донеслось с водительского места. — Просто заслонку забыл переключить!

И опять я встревожился, но Клочковатый расхохотался и хлопнул меня по плечу, дескать, расслабься ты.

— Трамвайка вещь неубиваемая. Работал на производстве, потому и говорю, — легко, впроброс, как и долженствует течь случайному разговору, добавил Клочковатый. Он вынул из-за спины пустую пивную банку, перевернул её так, что слюна оттуда разлилась по проходу, и вдруг сжал её в руках, как съезжающийся баян.

От этого неприятного звука полсалона вздрогнуло. Бабки зло зыркнули в нашу сторону из-под косынок. От общественного порицания Клочковатого спас лишь очередной, в три оборота, пируэт автобуса.

— Да ладно вам, — обратился ни к кому Клочковатый. — Трамвайка вещь, а вот спиральные нагреватели дрянь! Воздух жгут. А если спирали перепутаются, — он подмигнул мне, — пожар может случиться. А при пожаре не только воздух, там, бывает, и души в пепел...

Он устроился полубоком, накинул на щёку воротник и будто бы заснул.

Я ещё раз оглядел весь салон, быть может, всё же есть куда пересестись. Автобус по-прежнему был плотнячком.

И всё же, что жизнь? Виток или петля? С одной стороны, виток — это какой-никакой, а всё же путь. С другой стороны, и петля не всегда тупик. Ещё в детстве я в этом убедился. Задали нам на уроке литературы выучить отрывок из поэмы Лермонтова «Мцыри». А таких дураков нет, чтобы добровольно, посреди течения жизни, учить «Мцыри». И надо же, спросили меня. Я прочитал перед уроком один раз, как знал. Вышел к доске. Сонная Влада Натановна, таблицы предложений, портреты классиков...

*Ко мне он кинулся на грудь,
Но в горло я успел воткнуть
И там два раза проверить
Своё оружие.
Он завыл,
Рванулся из последних сил...
(Я помедлил)
И снова кинулся на грудь...*

Три раза кряду я вонзал «своё орудье» в горло. Если это была петля, то она была и выходом. Ибо получил я тогда пять. Сонная училка ничего не заметила.

— И не вздумайте, милочка, это применять. Таблетки — это незатянутая петля! — подвзвизг спереди разметал мои мысли, как пугливых щенков.

Это две бабки, те самые, шуршащие, нашли общую тему:

— Помёт, только помёт. И только куриный. Берёте, в ладонке растираете, и где зудит, мажете. Только так геморрой и лечат. Поверьте, вам семьдесят пять, какой у вас опыт? И помёт не от несущих, а от нетоптаной! Семя — оно что отравя!

— А вот по телевизору... — пыталась возразить вторая.

— По телевизору одни упыри, — непрерываемо заявила первая. — Телевизор от энергии питается, а где её берет, знаете? То-то же! Да и что геморрой ваш. Вот у меня... костоед!

Сначала ранка на ноге появилась, терпела я, терпела, а потом — по докторам, по врачам, по больницам. Через полгода списали, изверги. Костоед у тебя, старуха, иди домой и помирай наособицу. Ну, думаю я, не сдамся, я же физкультурница. Ковырнула коросту как-то палочкой от мороженого, он и вылез, костоед-то.

— Да ну! — изумилась собеседница.

— Длинный, сантиметров десять, голова с ноготь и зубы — как пилка от лобзика, — сообщила Физкультурница. — А за ним еще маленькие полезли. Ну, я их в таз и «Белизной» залила — долго ещё копошились, умирать не хотели, бедные... Гнездились они там, стало быть.

— И откуда только чё берется, — качала головой Геморройная.

— Думаю, из земли, — рассудила Физкультурница. — Там у них центр управления, или Царь-Костоед какой, типа матки. А в земле косточек ох мно-ого! Я в огороде хрен копала, поранилась, ко мне через ранку личинка и заползла.

— Из земли — ни в жизнь! — подал голос, не меняя позы, будто бы спавший Клочковатый. — Там шмели княжи на страже. У княже — везде стража. Да и кость для княже — хороша поклажа.

— На какую глубину хрен прорастает — ни у какого князя ни стражи, ни догляда не хватит, — отмахнулась бабка. — Ты, алкашина, спал бы уж...

— Уж принёс Еве груш, а Адамчику поднёс агдамчику, — буркнул Клочковатый и устроился спать в кресле другим боком.

А меня всё не отпускали мысли о дороге: «Где начало этой дороги? В Кумарино или в Прёте? И где её конец? Приходится же нам иногда возвращаться. Куда, к началу? Быть может, и нет у неё ни конца, ни начала. Вдруг это кольцо? А что есть кольцо, как не петля?

— Позвольте, — водитель притормозил и обернулся, — как это нет конца и нет начала? Вы случайно не на радио работаете? Как ваша фамилия?

Должно, увлекшись, я размышлял вслух, и теперь на меня глазел весь автобус.

— Нет, не на радио, а с чего, собственно...

— А с того, что там такая болтовня в почёте. Из пустого в порожнее, то да потому. Грызёте, хуже бабкиного костоеда. Тот хотя б кость грызёт, а вы голову.

— Там будто не кость? — взвился Клочковатый.

— А работать кто будет. Вы где работаете? — ни с того ни с сего спросил, показав из-за газеты лицо, до того молчавший мужик с «Советским спортом».

— Да нигде я не работаю. Еду я...

— Вот и едьте. Иначе высажу! — пригрозил водитель, будто были они с Советским спортом одно лицо. — Начало дороги есть там, где куплен билет, конец дороги есть где? Где сдана ведомость! — и водила торжественно дал газу.

— Это не дорога, а путь получается, — возразил я, больше для себя.

— Это получается метафизика, лженаука! — распялся Советский спорт. — Путь, дорога, пыль, туман. Сел-поехал, вышел-приехал. Всё!

— Подглохни, — буркнул Клочковатый Советскому спорту. — Я вспомнил тебя, ты пьяный с моста прыгал, на День военно-морского флота. Ты куда сейчас едешь? С моста до дна не доехал?!

— Да я... Я от обстоятельств, может. Меня, может, задрало все, — бормотал Советский спорт, — сил ибо не было. Всю кровь выпили ибо...

— Ну и прыгал бы плашмя, чтобы об воду и в студень, — рассудил Клочковатый. — Почему головкой нырнул, почему водную гладь пронзил? Хуякнулся бы плашмя и сдал ведомость! Вернуться рассчитывал? А сколько ты крови попортил родным, когда на мосту голый перед прыжком трусами размахивал... А сейчас ты в один конец едешь?

Советский спорт зашуршал газетой, пряча за ней взбавровевшее лицо. Испуганная девушка на словах про голого и трусы оторвалась от окна и внимательно осмотрела салон.

Мотор внезапно взревел.

— Ай, ***** [блин], вторую вместо четвертой воткнул, — прошептал, подмигивая, Клочковатый.

— ...ять... долбаная коробка... вместо четвертой... — донеслось с места водителя.

— Что, прекратились разговорчики?! — оглядев салон, с достойной прапорщика Зарембо воинской умудрённостью спросил Клочковатый.

В салоне, действительно, всё разом утихло. Испуганная опять глядела в окно, Советский спорт прятал наливное, как алыча, лицо за газетой, и даже бабки притихли и сникли.

Лишь Физкультурница буркнула было:

— И как без паспортов в автобусы пускают...

И замолчала, ибо Клочковатый вновь скомандовал, не поворачивая к водителю лица:

— Ты там, на дорогу шибче смотри, не дрова везешь, тебе ещё ведомость сдавать.

— Я сейчас высажу кого-то! — пригрозил водитель.

— Я тебя сам высажу, — заявил Клочковатый.

И вдруг, подмигнув, заговорил вкрадчиво:

— А я знал, что брательника у тебя нет, знал... Брательник — что ельник, а сестрица — что шмелица. Козырь в снос, хваль под откос...

Я вежливо улыбался, а сам косил в окно. Стемнело. Заискрились фонари поста ГАИ. Испуганная попросила водителя остановить. Вышла, предварительно как-то странно мне улыбнувшись. А может быть, и не мне. Автобус уже тронул, зарябили по окнам фонари, а улыбка Испуганной всё стояла перед глазами. Она будто просила у меня за что-то прощения. Как перед вечным расставанием между близкими людьми.

3.

Перебирая колёсами на искусственных ухабах, автобус проехал пост и сейчас прибавлял скорости. Уже различались вдали огни Прёта, и были они и как избавление, но и как тоска. И всё же подходило к завершению путешествия, светлели мысли, и подкрадывался сон. И пускай был он не к месту, какой уж сон в конце пути, однако напоминание о нём было как предвкушение. Забытия ли, забвения... И стало вдруг мягко и уютно. И Клочко-

ватый притих, и лишь подвывал двигатель, да мотало меж ухабов автобус. Всё успокоилось и устаканилось, все пассажиры притерлись в автобусе, как детали в механизме, будто бы сроднились.

Внезапно дорога сменила направление.

Вираз, что описывал автобус, объезжая очередную выбоину, всё длился и длился, и я понял вдруг, что не слышу шороха шин. Лишь двигатель выл, однако выл, будто в безвоздушном пространстве, никуда не распространяя звук. Затем послышался треск. Автобус, на большой скорости пробив ограждение моста, летел в пропасть.

Очнулся я от боли в плече. Пахло псиной и палёной шерстью. Боль, сковывая ключицу, уже продиралась к голове. Сразу и не понял, где я и что произошло. Ощупал себя здоровой рукой, понял, что цел. На груди пальцы угодили во что-то липкое. Блевотина. И вновь напахнуло псиной. Помахал перед глазами рукой, пальцы раздваивались, шли полукругом, словно японский веер, их было не считать. Потом зрение сфокусировалось.

Понятно. Сотрясение мозга. Это ничего. Это, как говорил прапорщик Зарембо, на темп марш-броска не влияет.

Кое-как сел и огляделся. Светила луна, где-то вдалеке слышался шум машин, к ложбине спускался, неся покосившиеся кресты, заброшенный погост. Покореженный автобус был метрах в двадцати. Вероятно, меня выбросило через задние, багажные дверцы. Ближе к погосту слышалась возня. Кто-то удирал вверх по ложбине.

Голова кружилась и гудела, всё двоилось и плыло, однако я добрёл до автобуса. Водитель был мёртв. Он наполовину вывалился из окна, на его лице застыла гримаса-улыбка, а в руке была зажата так и не сданная им ведомость.

— Отмучился, — почему-то подумал я. — Кончилась твоя дорога, болезный.

Пошел дальше, на шум возни. За кустами, у ручья, Геморройная и Физкультурница сидели верхом на Клочковатом и на Советском спорте и делали им искусственное дыхание.

Странно как-то делали. Казалось, что рты у пострадавших находятся на уровне шеи или груди.

— Им под шею подложить что-то надо, — крикнул я.

Бабки обернулись, и в свете луны я увидел их вытянутые лица, окровавленные подбородки, растрепанные волосы и чумные глаза. Пугаться было некогда. Я развернулся...

Продираясь сквозь кресты и поросшие бурьяном могилы, я поперву слышал позади жалобный, будто бы мышинный, писк, однако вскоре он приотстал, а после и смолк.

Обернувшись, сквозь осаживающийся наземь туман, в свете подавшейся вперед любопытной луны я увидел вдалеке Геморройную. Она лежала, уткнувшись в землю, насквозь проткнутая трухлявым могильным крестом с осыпавшейся перекладиной. Вероятно, пустившись без оглядки за мной в погоню, она напоролась на него и то ли теперь не могла встать, как подколотое в гербарий насекомое, то ли крест имел магическое действие.

Физкультурница же, как и положено ей по статусу, вырвалась вперед и едва-едва не настигла меня, однако тоже напоролась на оградку могилы. Острые пики изгороди пронзили её по диагонали, и теперь она змеилась и кочевряжилась между ними, пытаясь встать. Однако и руки её и ноги болтались в воздухе и опоры никакой не имели. И она лишь тянула ко мне жилистую, костлявую шею, и зыркала умными, острыми, как у живого человека, глазами.

Я выдрал из могилы позади себя крест и со всей силы врезал им Физкультурнице по башке.

— Ко мне он кинулся на грудь... — не к месту ухмыльнулся я.

Голова старухи лопнула, как вынутая из компота слива, и брызнули по сторонам ошметки. Я попятился назад. И оступился в ямину на месте выдранного креста. Завалился я на спину, в какую-то неудобную ложбину, головой ниже ног. Та нога, что попала в яму, хрустнула и нехорошо выгнулась. К боли в плече добавилась и боль в ноге. И сознание вновь покинуло меня.

Когда очнулся, туман плавал вокруг тягучим киселем, а земля подо мной была удивительно гладкой, без комьев, сучьев, камней — всего того сора, что обнаруживается на всякой земле, доведись на ней лежать долго. Будто и не земля это была, а кушетка.

Показалась луна, а за ней чей-то силуэт. Он приближался шатающейся, неровной походкой. Луна зашла сбоку и осветила лицо. Это был Клочковатый. Грудь его и шею заливала кровь, однако лицо было чистым, потому я его и узнал.

— Братишка, — позвал я его, — встать помоги?!

Он споро оказался рядом и присел на корточки.

— Братишка? — ухмыльнулся Клочковатый. Голос его перемежался хрипами, будто сдували из него воздух.

Клочковатый достал из кармана свёрнутый на манер бинта платок. — Носогреечка! — умилился он. Затем запустил пальцы себе в рот и вынул оттуда зуб. Этот фокус я уже видел. Клочковатый убрал зуб в карман и вновь усмехнулся.

— Братишка, стало быть? Ну, здравствуй, — хрипло, с пробулком, заговорил Клочковатый, — вот я до тебя и доехал! А где шмели, где рать княжья? Рать, знать, ушла срать?

И эта манера бессвязно бормотать была мне знакома, всё, значит, налаживалось. Быть может, и бабки-вампириши показались мне, всё же сотрясение? — успокаивал я себя.

— Дай руку, братишка, помоги встать? — не успел я попросить Клочковатого, как вдруг почувствовал, что земля подо мной, и вокруг, и везде вообще пошла будто бы мелкой дрожью, зашуршала, заосыпалась.

— Вот она, вот рать княжья! — заблажил, ощерившись, Клочковатый. — Хоть и захоронена глубже хрена, а раз в год и она восстаёт, и всякая кость, что не гниёт.

А земля все дрожала, все шуршала и осыпалась, и я вдруг увидел, коченея, как тут и там кто-то из неё вылезает. Здесь показалась спина в истлевшем пиджаке, здесь локоть, тут вдруг выпросталась из грязи костлявая пятерня. Это восставляли покойники.

— Дай руку! — заорал я Клочковатому.

А он, запустивши руку, вместо того чтобы подать её мне, в карман, вынул оттуда зуб и вставил обратно в рот. И начал склоняться ко мне.

И я всё понял. И возблажил. И тщетны были мои эти нелепые, никчёмные, слабые усилия. Это я тоже понял.

Упырь склонялся ко мне, и блестел в его пасти зуб, длинный, отливающий металлом, острый, будто скальпель.

— Вот она, твоя дорога! — расхохотался упырь. — Без начала и без конца!

Он бросился на меня, на мою шею и грудь оскаленной пастью, и за затылком его показалась луна. Теперь безучастная, тоже всё понимая. Пятна на ней мерцали, будто плафоны в хирургической лампе.

Я силился прикрыть лицо и шею здоровой рукой, но в неё будто впились иглой.

А вокруг восставляли мертвецы и обрастали плотью, но не людской, а будто бы птичьей: тонкой, пупыристой кожей. И отрастали у них за спиной перепончатые крылья. Эти полумертвецы-полуптицы, жуткие ночные химеры, вспрыгивали на могильные кресты, уцепившись за них когтистыми ногами-лапами, складывали крылья и будто чего-то ждали.

А Клочковатый всё тянул и тянул ко мне пасть.

И виделась мне в последний час не вся жизнь, не пройденный путь, не шальная моя, кривая, с нелепым концом дорога, а почему-то виделось людское лицо Клочковатого, а не эта жуткая маска.

— Маску! — рявкнул Клочковатый, и я горько ухмыльнулся. И эта его манера проговаривать вслух только что подуманное тобой была мне знакома. — А вот мы масочку ему, пока совсем в себя не пришел.

Показалось лицо Испуганной, в белой какой-то тканевой шапочке-скуфейке. Будто бы извиняясь, тянула она ко мне руки. И маска накрыла моё лицо, и погасла хирургическая лампа луны. И возле самого лица маска вновь обернулась пастью Клочковатого. И пасть сомкнулась на моей шее, и объяла меня вязкая пелена. В ней вновь зажглась, впрочем тускло, луна. Она, помятая, побитая,

будто нарисованная нетвердой детской рукой, быстро скатывалась с неба, и небосклон серел. И разъяснялось, и восходило солнце.

И рассевшиися по могилам оборотни с надрывными криками вдруг исходили лопнувшей кожей, уменьшались в размерах

и становились похожими на насекомых, будто бы даже и шмелей.

И сбивались они в стаю, в рой, и рой этот вытягивался, становился на крыло, в сторону медового леса. И отлетал в самую его гущу и чащу, где пока ещё сохранялась тьма.

Владимир Лаврентьев

Где всё, что любил я?



История просёлочных дорог

История просёлочных дорог.
Возница, затвердивший свой урок
по книгам тех, кто никогда здесь не был,
ползёт, ориентируясь по небу.

Что бытие дороги необъятно,
что у дороги нет пути обратно —
писавшим книгу было невдомёк.
И что вдали клубящийся дымок
не встреча с рушниками, не ночлег,
не одночлен, что делит многочлен
дорог, не делая их хуже
иль лучше. В перспективе они уже,
но это видно лишь издалека.

Вернувшись до искомого дымка —
то это пыль какой-то давней битвы,
иль пыль от этой самой же кибитки.
Не потому что сделали кольцо,

но мысли, как тесёмки от кальсон,
хранят позавчерашний эпителий,
и как бы далеко ни улетели —
встречается всё этот же дымок.
Его кибитка тащит вдоль домов,
которые сбегаются к дороге.
Там то возок, то шапито, то дроги.
На них везётся прошлого оброк.
История просёлочных дорог
не любит сослагательного. Знамя
колышется над радужными снами;
в них сводятся тропинки в магистраль.
Обочины — в руинах и кострах.

Весь в клетчатом, клеёнчатом плаще
глядит на всё сквозь мироздания щель
невозмутимый ко всему возница.
Тьма вечности в его пустых глазницах.
И, растеряв в дороге лошадей,
мир движется энергией идей.

Тот, кто писал историю дорог,
не то самонадеянный дурак,
не то провидец. Хоть невероятно,
но где-то повернул возок обратно.
И катится он, гением влеком,
по лабиринтам древних катакомб.

И статуи стоявших у обочин
народов, обветшалых, скособоченных,
безмолвно проезжающих крестя,
перебирают прошлое в горстях.

Пересчитать ступени каблуками,
и, с набережной прыгнув к букинисту,
перелистать глазами и руками,
а были б языки — и языками
до корешка, до лепестка, до листа
всё, что хранится между берегами
растрёпанных, как берега, обложек.

Скрипит от дуновения пергамент,
шуршит картон, как гравий под ногами,
и в будущее путь уже отложен.
Мир окольцован и сосредоточен
на этой глади выцветшей Вселенной,
где ангелы — властительные строчки —
расставят буквы для игры. А Отче
свой завтрак расстилает на коленях.

А ты листаешь (и вступают скрипки),
как ткань перебираешь на колете
средневековом, что-то ищешь в крипте
картонном, пыльном и немного липком;
не знаешь где, но не на этом свете.

Исчезнет всё, как исчезают пылью
события, столетия и ростры
великих кораблей, что мимо плыли.
Ты слышишь краем уха: где-то крылья
взбивают воздух. Или это просто
жизнь шла спокойно, радостно и мимо,
ежесекундно растворяясь в прошлом.
Она и наше выкрикнула имя.
Вот только безымянны пилигримы,
ушедшие в ту сторону обложки.

Елене.

Я соберу цветы среди полей,
полей, которые висят над нами
и ночью представляются как яма,
наполненная тлением углей.

Там множится в алмазах углерод,
разбросанный у вечности на въезде.
Там девочка танцует болеро,
меняя геометрию созвездий.

Я соберу звучащие цветы
с полей квадратных, круглых, бесконечных,
удобренных графитом темноты,
стирающий алмазный наконечник,
который начертил ориентир
до тех полей, полей — не пепелища.
Какие там цветы — с ума сойти!
Таких ты на земле в наш век не сыщешь.

Пока я доберусь до тех полей,
пока с цветами возвращусь на землю...
Но я вернусь! А ты пока полей
для них Луны невянущую зелень.

Старый дом

Квартал назначен был под снос.
За исключением самых стойких,
все расползлись ещё весной
по отдалённым новостройкам,
хоть что-то получив взамен
на обесценившийся рубль.
Тихонько все уйдут к зиме.
Останутся печные трубы.
Потом их сменит котлован.
Пока ж, используя затишье,
я прихожу сюда в слова
играть, точнее, в четверостишья.
Я напишу, потом сотру
на полувыбитой, степенной
оконной раме; на ветру
она колотится о стену.

Четыре или пять домов
сдружились за две трети века,
срослись, и им теперь дано
то, что под занавес калекам,
убогим, просто старикам,
больным, ненужным, одиноким —
не опасаясь сквозняка
глядеть в окно или из окон.

Они — прибежище ворон,
они — хранилище обносков.
И оборотистый народ
из них вытаскивает доски
и монолиты кирпичей
с клеймом исчезнувшей эпохи.
Ты, старый мир, уже ничей,
ты рассыпаешься по крохам.
(Так старика последний грош
перекочёвывает к внуку.
Ну, что поделать — молодёжь,
поди, нужнее им.)
Без звука,
поскольку лишним будет звук.
И в эту тишину, как в нишу,
они сойдут. Пока живут —
они молчат и их неслышно.

Сию я на лавочке мокрой
в кустах проходного двора.
Спускаются бронза и охра
листвы на бетонный квадрат
по случаю детской площадки;
в чужие мне окна гляжу
и ставлю свечу на прощанье,
не ей, но всему этажу.
Я ставлю свечу, словно в нишу,
в холодный оконный проём.
Ну что ж, я нездешний, я лишний,
заброшенный в этот район
по случаю, глупости. Память —
кто кроме неё виноват?
Дом — церковь, а лавочка — паперть,

сырая забвеньё-трава.
А двор стал таким худосочным,
затянутый в модный корсет.
Качели, скамейки, песочник...
Где всё, что любил я, где все?
Да там, где и ты, повзрослевший,
куда бы вовек не ходить.
Ты сам меня бросил, кой леший,
ты жмёшься к иссохшей груди,
в которой давно нет ни капли
сбежавшего прочь молока.
Мы раз попрощались, не так ли?
Что ж, помни, но издалика.
По коему, блин, букварю нас
вы жизнь приучали читать?
Прощаюсь с тобой, моя юность,
меж Раем и Адом черта.

Мокрый снег

Ну вот и всё, вниз рухнул мокрый снег,
густой и непрозрачный, как коллодий.
И прервалась мелодия. Бог с ней,
мелодией, теперь не до мелодий.

Снег падает и говорить о чём?
Всё стало сразу одномерно как-то.
Ушли под снег и скрипка, и смычок,
туда же удалились музыканты.

Снег глушит всё, он заморозил нерв,
которым мир держался. Неужели
и эти небеса, обледенев,
окажутся поделкой вроде «гжели»?

Пожалуй, так, ведь снегу всё равно,
он мёртв. И вот уже покончив с небом,
иезуитски он лежит у наших ног,
и в то же время сами мы под снегом.

Среди деревьев мертвенно нагих
висят замёрзших поцелуев блики.
Твои шаги, как и мои шаги,
скрипучи, словно старость, и безлики.

Никита Бегун

Опрокинутая окрестность



Предисловие Николая Кононова

Вот перед нами тексты Никиты Бегуна, мы не знаем, что это — проза или стихи. И мысли этих кратких фрагментов уложить в привычную формулу тоже не удастся. Но что-то таинственное — сила ли натиска сочинителя, доверчивость ли его, с которой появляются по ходу чтения новые предложения, — не позволяют отступить от продвижения в лабиринте этих странных конструкций.

Во всяком случае, сразу ясно становится одно — эта странная темная материя обладает повышенной гравитацией, она каким-то объективно опознаваемым образом притягивает.

Ведь все фрагменты этого письма тем или иным образом опознаются. То это нечто виденное — вроде фрагмента фильма, то отрывок какого-то важного туманного текста, то вроде цитата из стихотворения...

Чудесным образом все эти фрагменты разного материала оказываются вовсе не бессвязными. «...нежнейший межпредметный клей, почти сквозной, почти что млечный» — писал Андрей Николев вроде о другом, но, как случается в стихах, — об этом самом гении связи.

Вспышки визуального, а они почти повсеместны, складываются в заманчивый текст-калейдоскоп, меняющий общую прельстительную картину фрагмента при каждом новом ракурсе подозрений — я бы «понимание» заменил именно этим словом. «Подозрения» читателя еще сильнее обесмысливают текст, возводят его фрагментарность в высшую степень, рассеивают, превращают из материи в поле, делают повсеместным, а потому прельстительным.

Если присмотреться, как Никита Бегун строит свои высказывания, то их повелительный тон сразу бросается в глаза, будто по ходу чтения он отдает нам последовательно приказ за приказом, и не подчиниться уже нельзя.

Вот тут-то и таится ритм этого чтения. Его поддерживает и раскадрованное зрелище (о зримом в его текстах я уже упоминал) вроде игрушечного кинематографа, когда связность достигается скорым листанием страничек с картинками.

Но самая главная загадка новизны и приманчивости этого письма таится в ином. Сейчас я предложу один способ прочтения этих фрагментов. Да простит меня сочинитель, но все-таки...

Так вот: если взять наугад любое предложение этих текстов, читатель может выбрать его сам и достроить его дактилической «рифмой» (ее нет у автора). Прибавить следующую строку без изменений. Третью строку (это следующее предложение) достроить рифмой к той, что уже была приставлена к первой строке. И срифмовать четвертое предложение со вторым (там рифму мы не добавляли). Пусть опять извинит меня автор. То мы получим настоящую стихотворную строфу разноразменных строк, что и замечательно, так как скандировать их придется в манере дольника, не подвывая.

Вот тут-то и вскрыется манкость этого очаровательно странного материала, таящего в себе модус поэзии, отвечающий и за непонятную притягательность, и за неочевидную точность, и за волнение, присущее стихам в самой высокой степени.

Думаю, что значительность этих смыслов, этого языка и природу энергии я (хоть и условно) но объяснил абсолютно точно. Конечно, это стихи, хоть и тайные. И связность этого языка безусловно поэтической природы. «...межпредметный клей».

Сегодня дождь. Он вошел и совершил свой запах. Прогулялся иголкой по доступным местам на себе. Тоска такой каприз. Скоро восточки рябины. Плодород. Потом похороны природы. Фюрер червь. Для защиты передней твари. Ушел в озноб. История ему мала. Тяготы века. Спешу пешком.

Встал. Был. У эпохи вывих. Бродил по Белградской. Улица отредактировала природу. Дерево сделали уродом. Я и ясеня кровеносные сосуды. Запустение между смыслом и возгласом. Теория всеобщей патологии. Алчба до детей. Сочный силос. Пяточки лет пяти. Слегка оглядка. Довесок на первину. Пахота. Притихли бы мои прихоти.

Моя печаль узорна. Леня так сентиментальна. Затаил внутри себя турнир. Лоснится теплый хранитель тела. Скороговорка из восклицаний.

Ресницы они служанки. Румяные на босу ногу. Дети диеты. Ас-вегетарианец. Рыбы это морские овощи. Водоросли полевые стаи. Люди Ленобласти. Сколько в нас Колпино? Лезвия излучин Волковки. Улица Белградская. Ее кормило. Сад острит. Пламенная волне неловкость. Частность денег. Высокопоставленные серийные дяди. Стекло прочных радостей. Гуд их дуг. Едкие урны. Проникая в струны. В течение позвоночника. Прочие новые. Оживут петли. И тогда до тогда. Россия благослови. Мои вилы и мои молотки.

Так необходимое мне новые дно. Черно-желтое рано. Дик орел. Императив колесницы. Двуглавые пешеходы. Слишком станем. Импортёры истории. Молодые чемпионы и барьеры быта. Рукоплескала паства. Матка яблочка. Интонирование мрамора. Терроформирование морфофоном. Всех остальных однородный посад. Я на расстоянии. Гражданин пассажир. Милостивые мои личиночки. Пригрели грудную жабу. Теперь до самых до горных выработок. Редкоземельная вольница. Славься снятая целина. Всуе.

Прикус утра. Глиняный материк. Первая Ева. Новая по-львины. Политический педофил. Мимо или вглот. Дышу людьми. Возрастом моих сверстников. Почили красоты. Июля пасмы. Дикие виноградники христианства. Возвели в логарифм. Прокрустовы дети повадны. Условия солидарности. Милая еду за заземлением. Еще один придорожный человек. Предзимний труд. Замороженная моя охра. Былые очаги. Город скор. Сколько чиновников в заявлении? Дивно кандалами. Вешалка костей. Иногда около мысли новости. Теперь я орудие в руках улицы.

Сначала был дождь потом была его половина. Давка дыма. Стилизованная под воду. Шестипалый автопортрет. В сосновом маскараде. Топкий вал. Галопом по колоколам. Косноязычные сквозняки. Плечи юлы. Ребячьи головни. Невыспавшиеся ломтики тонконогие. Зоркий уголек около. Крови смесительной наглей. И на теле остался избыток. Приучили рассуждать ртом. Сословие великой оскомины. Напросился на свой возраст. Многоярусные искры. Острог нагорной мороси. Осмыслить пресмыкание. Постоялые плюсы. Полюсы нулей. Чуть-чуть это чище чем очень.

Яро рдеют утра. Ливня наглядное далеко. Плагиат дела лета. Свело его весла. Обваливая мимику. Пейзажные положения. Положения лежа. Скалится детство. Двусмысленная дань. Деколью вдоль. Березовые щеки нищего стихосложения. Урчание контрапункта. Матерчатый костерок. Мемуары слепой руки. Осада тела. Тоже шов жизни. Вдовы факты. Каждый новый день моей речи.

Рубцы зарницы. Стенография очередного утра. Скорлупа погоды. Припадочные лужи. Роща для дождя. Олицетворенная овация. Еще тоненький водораздел. Вербуя кровь. Улица не только пугает. Отставник колена человеческого. Стоны с мандатом на фальшь. Половинчатое влечение. Шишечки хвойный налив. Поголовный плодонос. Соглядатаи подлога. Найти выход из этого крошечного сахара. Общительная возможность. Великая карманная приманка. Опекая лепет. Соприродно громким узорам. То неотзывчивое подростковое которое скороговоркой.

Вчера вечер испарений. Сегодня воскресить тело дождя. Его слог был гол и колченог. Хладные орудия. Одоление неотложного. Азбучные восклицания. Таков распорядок моего ежедневного рейха. Стекла новой оптики. Великовозрастные этики. Уксус языка. Губя букву. Иногда проще обвоцить вещь. Прилежный муляж. Славословить сопластников. Насмешничает племя. Под натиском итога. Един нитевидный комментарий. Неизвестное переплавлено в свое название.

Очеловеченная пучина. Отлив на изнанку. Тише яловой щепоти. Жажда разжалась в свободу воли. Тетради семейного огня. Безродная околица. Млады настройщики красоты. Их марлевые шатры. Половина проникновения. Напрасные жабы. Росток тока. Исполнение плача. Остывает инструментарий недели. У заката дела с плодом. Зауспокойный минимум. На холстине погоды. Туман это просто малодушие чрезмерного простора.

Временно исполняющая обязанность
история. Родословная коридорного сора.
Жить меньшевиком. Листая подворотни.
Телескопическая светотень. Дагерротип
с крапивой растрепанной простыни.
Мальчик-лисенок с косоглазием. Теснит
сетчатка. Излучина голоса. Хрустящие
укротители. Полупроводники лимфы.
Из самого клевера приманки. Поспешная
возможность. Неокрепшее намерение.
Плоскости положений локтей и стекла.
Кости льда. Любовь это коллаборационизм.
Спасибо родная речь.

Гальванические язычки на развилке
сквозняка. Назойливый мускул. Моложавая
мощь.
Заиливание речи или влечение к позавчера.
Втискиваться в судорогу уличного камлания.
Вестибулярный мартиролог. Чуть оробелые
корни. Напиться новой версией своего
существования. Утешен отверстым
пешеходом. Свертка быстра. Неутомимый
лепет нательный. Хороша пена. Прохладен
миг на окисле сути. Рукоплескательна
строка где пролегли угли. Ремесла мест.
Их ости. После скальпель безвесельного
здравомыслия. Люди или мультипли.
Зарисовка лазорью. Колкие победы.
Конгруэнтны своему возрасту. Плоскостопые
полосы. Дальнобойные просторы.
Пересыпаемые голоса кислородного
рабства. Тоска юна а память сама по себе.
Иное наскально.

Безъязыкий час потускнел в полусне.
Спазмы сумерек.
Знать как мямлить или стать стеклодувом.

Мои они на утесе чистой мысли.
Подлог поверх лелеемых окалин.
Когда вдруг зазерзнется все.
Лиц акустика и пауза как назидание.

Обволакивающее предопределение.
Скорбь изгиба на непролазном возрасте.
Изветливы улики сердобольных орудий.
Перлюстрируя прихоти навичной памяти.
Отблагодарить себя глаголом нищеты
для исчерпать старость.

Черна корня ложь.
На службе у кожи жизни.
Оглушительный лишний.
Оттенен недугом уюта.
Напыление послепопуденного
мироустройства.

Беспозвоночные однополчане комкают
остаток места.
С жалобой в районную поликлинику.
Влекомые крепостным пульсом.
Некоторые уже обретаются на умных
стульях.

Различие не требует причины.
Сладко лгу им.

Смычки и напильники.
Утра оперения дня.
Коптят срочной минутой ходики.
На железе языкознания.
Вооруженный случай изнанки заикания.

Рассекая по произношению глотнуть
логореи.

Ее перила и ее предплечья.
Сталелитейный где современник.
Опрокинутая окрестность.
Слова вповалку и все что после.
Трава символизирует сытую посуду.

Следы по стельже ужла жеста.
Словно бы еле прежний снег

по распознаванию триплета.
 Оважи нерошно.
 Услужливы жвалом.
 Наснежники важны.
 И лежне я жил.
 О жено неоно.

Лета обитаемый холод. Слепорожден
 ветер. На оседлом проулке. Под диктовку
 сонной артерии. Нагие блага кучевых
 зарослей. Их подстрочные повторения.
 Утопия горизонтали полагающей основы.
 Проницая календарь. Около переполнения
 дней. Скоро листопадов подростки. Вся
 история ее цвета. Звончаты обмороки
 скоропостижной влаги. Пациенты случайной
 встречи. Или трава у ночи. Предположим
 что я сразу все вокзалы. Одноименные
 но они. Где кафель туалетов и поиск стиля.
 Неизменяемые части окружающего уклада.
 Сонаследую угрызениям непосредственного
 восприятия. Встретить найденное
 несовпадение. За кавычками репетиций.
 Национальное состояние. Октябрьская
 цивилизация вечного человека. Окраина
 отдельно угодной красоты. На свободе
 скуки. Летальные люди. Утолить их
 глоссолалию. Стесняя изложение.
 Отсыревший постскрипtum. Честнее
 крайностей гражданского населения.
 Первобытное иррациональное равновесие.
 Поступок отрицания голоса. Редкой строки
 прибавочная стоимость. Все мои я суть
 созвучия статистики.

На новолуние эпидермы приходил Илья.
 Легко детородна его ямка но захладела
 наволока.
 Полумертвый Илья на спайке чего-то
 такого что раньше казалось грановито-
 безотносительным.

Речедвигательная предтеча геометрической
 точки.

Он внешней ночи пешеход униженный
 уличным освещением.
 Приказал знать что мелосы его
 восплеменения суть звукоподражание
 на ритме совокупа сочетаемости.

(апропо запомнилась такая блесна
 взаимного ощущения. илья пристально
 рассасывал горошины гомеопатии
 за лазейкой заветной щеки. как
 наблюдателю мне хотелось уже не то что
 прилюдно цитировать классика а просто-
 на просто пропеть телом в сладкий лепет
 или хотя бы по водостоя нотного лекала
 колокольчиком. дескать илья так и так осадил
 ферзя яви милость. вина действия это всего
 лишь притворное усилие развоплощенной
 вещи.)

Стволовые клетки соучаствовали тем
 беспредметным событиям.
 Или быть может разум раскадрированного
 ледостава сменили воспоминания об авторе.
 Но именно в том самом месте где у Ильи
 притулилась плавильня тыльной части.
 Оцепенение лести стало стеблем
 предынсультного соцветия последствий.

(предъявив посадочный талон илья оснастил
 устье складывающейся ситуации
 глубоко слабым током. около мятины
 слога встречным увечьем млекопитала
 полупроводная субстанция чревосечения.
 дословно представьте себе такое
 истончение сюжета когда приствольные
 стечения обстоятельств жизнедеятельности
 осмысляются заново и становятся
 извержением ландшафта. о ильи
 восточнославянская бесконечномерность!
 о наглецы его голеней! о босы полости!
 о тот желобок который оказывается тоже
 заложник!)

Школы мальчики вы мои минералы.
 Теплокровны оральные имена.
 Минуя кладбища традиционного рабства.
 Трогайте только там где трогать нельзя.

• мимо взаимопроникновения времен года
 • церковнославянский снег или напрасный
 возраст • инвентаризирую ранний
 микрорайон • пешки дешевой рабочей силы
 сражаются с общим сюжетом судьбы • река
 волковка состоит из присутствия воды •
 насельник всеобщего обиталища был думать
 кочевой речью • но когда начинался дождь
 тоже надевал линзы на плюс три • и еще тот
 дивный слуховой аппаратик производства
 материковой японии • я им ноября
 бюрократ •

• или я младший научный сотрудник •
 нии селекции пенсионного пассажира •
 в больничном лесу переизбрание сосенок
 оркестровой ямы • новым солистам
 предстоит получить старые имена
 предшественников • изобретаю сценарный
 язык для лучших сортов изображения
 прочей • ночи очень человеческой
 идентичности •

• на отрадном распоясе режь их без
 жалости • режь их вдоль штрих-пунктира
 по возрастному радиусу • результат

обратного отбора они инвалиды тела • а мы
 именно сейчас в гостях у столицы солнца •
 режь их ради радикальности повседневной
 повестки • их устный огонь уже давно не
 претендует на славу мирового пожара •

• а после поспешите обратно в пресные
 оды натуральному ряду • чисел в насквозь
 чистую его совесть • играть с патлатыми
 ерусланами толкиенистов в лясы-ясочки
 • то есть в тот якобы мир с углубленным
 изучением жизни • где мы преднамеренно
 не мы но всеобщее нерестилище
 серотонина • а дальше уж как ветер на воду
 положит •

• надежда на прежнее положение вещей •
 теперь меня этажом иждивения живет выше
 • но волга мира это сырой груз • и кто-то
 с лицом лил пипа (царствие ему небесное) •
 умильно яйкает в подготовительной группе
 делителей нуля •

• булева алгебра улицы белградская •
 суточные щи на скором динамите •

• такова тихая суть моего религиозного
 хозяйства •

Николай Гостюхин

КАРАНТИН

Пьеса о мире без времени и без смысла



Действующие лица:

Василий Алексеевич Пегасов — пенсионер (67 лет)

Елена Ивановна Пегасова — пенсионерка (65 лет)

Павел Пегасов — сын (36 лет)

Алиса — голосовой помощник (обладает приятным женским голосом)

Лиза — врач, приходит взять анализы и провести домашнее обследование (34 года)

Борис Астахов — ведущий ток-шоу «Время диалога» (обладает вкрадчивым громким голосом)

Алексей Гальперин — ведущий вечерних новостей (обладает приятным бархатным голосом)

Участковый — приходит проверить соблюдение карантина (35 лет)

День. Квартира Василия и Елены Пегасовых.

В квартире три комнаты и небольшая кухня со столом и стульями. В центре гостиная, где стоит телевизор, напротив которого небольшой столик и два кресла. За ними на стене висит картина М. К. Эшера «Восхождение и спуск». Вокруг полки с растениями, шкафы с книгами и маленькими статуэтками советской эпохи, проводной домашний телефон, напольная лампа и несколько картин с видами моря или деревенской жизни. Две другие комнаты — это спальня родителей и бывшая комната Павла, сына Василия и Елены. В спальне стоит кровать, несколько полок, шкаф для одежды и ковёр на стене. А в комнате Павла полки с книгами, стол и ещё один настенный ковёр. В квартире включен телевизор. По нему ведущий ток-шоу Борис Астахов заканчивает свою передачу.

БОРИС: Алевтина, похоже, вы и не думали, что ваша маленькая афера в социальных сетях приведёт к таким серьёзным последствиям. Буду откровенен, мне искренне вас жаль и жаль, что вместо того, чтобы обсуждать с экспертами в вечерний прайм-тайм вещи вроде того, «как нам всем теперь жить в условиях новой коронавирусной реальности», мы вынуждены говорить о том, что очередной мошенник в интернете вновь обманывает граждан нашей страны, которые, будем честны, не то чтобы сильно этому сопротивляются.

Открывается входная дверь, и входит Павел. Он снимает обувь в коридоре, затем проходит дальше в гостиную, оглядывает квартиру, в которой когда-то жил вместе с родителями. У него в руках три пакета: с продуктами, вещами отца и его собственными вещами.

ПАВЕЛ (*кричит в открытую дверь*): Кто-то оставил телевизор включённым.

Павел раздевается, подходит к телевизору и смотрит, как заканчивается идущее по нему ток-шоу. Родители заходят в дверь и стоят в коридоре, переводя дыхание.

БОРИС: И это ещё раз говорит нам о том, что нужно быть крайне осторожным с тем, что пишут в интернете. Публичные люди, к которым прислушиваются миллионы других людей, должны нести двойную ответственность за то, что они говорят и делают. А если они на это не способны, то им следует замолчать. Как говорится, *Silentium est aurum* (силентиум эст аурум).

ЕЛЕНА: Ну кто же ещё мог оставить включённым? Конечно, я. Вот чудная, пошла вас вниз встречать и про всё забыла. Ладно хоть, ума хватило дверь закрыть.

Елена неторопливо снимает верхнюю одежду.

БОРИС: Как бы то ни было, будьте внимательнее с тем, что читаете в интернете. А в следующей передаче мы поговорим о контактах с внеземными цивилизациями, которые могли стать настоящей причиной появления коронавируса.

ПАВЕЛ: Лучше бы этот парень остановился на латыни.

БОРИС: А теперь реклама, после которой на нашем канале главные новости страны и мира. Не переключайтесь!

Павел выключает телевизор.

ПАВЕЛ: Mam, ты ходишь по очень тонкому льду?

ЕЛЕНА: Ты про что?

ПАВЕЛ: Про то, что это вообще безумие, то, что они тут обсуждают. Они ведь только и делают, что по кругу крутят эти бесконечные политические шоу. Что ни передача, всё про политику. Что

ни новость, то про США или про Европу. Других тем, видимо, нет. Ведущий заходит в студию, там какие-то очень странные эксперты, он начинает орать, они начинают орать, и заканчивается всё в итоге тем, что все друг на друга орут.

ЕЛЕНА: Ну, а я что сделаю?

ПАВЕЛ: Можешь выключишь телевизор.

ЕЛЕНА: Тогда вообще нечего будет смотреть. Другие-то каналы он плохо ловит.

ПАВЕЛ: Ну не знаю тогда. Можешь в интернете посмотреть что-нибудь.

ЕЛЕНА: А как я там что-то посмотрю, я же им не умею пользоваться.

ПАВЕЛ: Я тебе предлагал подарить планшет, ты сама не захотела.

ЕЛЕНА: Ну, а зачем он мне? Что я с ним буду делать? Ты вот так наезжаешь, а я, между прочим, только эту передачу и смотрю. А про политику мне вообще неинтересно.

ПАВЕЛ: Ну так канал-то один?

ЕЛЕНА: Я тебе ещё раз повторяю, что всё равно больше нечего смотреть. Что ты прицепился. Думаешь, есть какой-то большой выбор. По другим каналам если что-то и ловит, то примерно то же самое. А тут хотя бы смотришь, что-то интересное обсуждают, люди в студии каждый раз новые, ситуации всегда жизненные, есть за что глазу зацепиться.

ПАВЕЛ: Да кто бы сомневался. Видимо, про связь коронавируса и инопланетян — это тоже жизненная ситуация, да?

ЕЛЕНА: А что тебе не нравится? Там в студии всегда много умных людей сидит. Ведущий постоянно каких-нибудь известных личностей или депутатов приглашает. Они вместе посидят да обсудят, что это за вирус. Ты же не знаешь, откуда на самом деле эта зараза взялась.

ПАВЕЛ: Ну, они-то уж точно это знают. Пап, ты как ей вообще разрешаешь такое смотреть?

ВАСИЛИЙ: А очень просто. У каждого своя голова на плечах. И люди ею сами думают. Ты посмотри повнимательней. У мамы и у тебя тоже такая должна быть. Это, Паша, естественный ход вещей. И у меня есть принцип: в естественный ход вещей не вмешиваться.

Паша подходит к столу на кухне и наливает в стакан воду.

ПАВЕЛ: Ну понятно с вами. Окей. Я у вас тогда ещё раз сейчас спрошу, просто чтобы по полочкам у себя в голове всё разложить. Кто-нибудь из вас двоих вообще слышал, что этот ведущий говорил про связь коронавируса и инопланетян? Не про связь зимы и снега, не про связь русских шпионов и отравление в Солсбери, а блин про связь коронавируса и инопланетян?

ВАСИЛИЙ: Да, Паша, слышали, слышали. Ты видишь, мы устали. Дай нам немного отдышаться, а то лифт как будто нарочно сломался к моему приезду.

Паша выпивает воду.

Пауза.

ПАВЕЛ *(с досадой)*: Эммм, надеюсь вы оба понимаете, что этот канал финансирует государство, и вот это вот ток-шоу, которое в следующий раз будет рассказывать про связь коронавируса и инопланетян, тоже финансирует государство.

ВАСИЛИЙ: И что нам теперь с этим делать?

ПАВЕЛ: В смысле?

ВАСИЛИЙ: Ну что нам с этим делать?

ПАВЕЛ: Понять, просто наконец-то понять, что это фейк, не настоящее. Там же вообще нет никакой правды. А у тех людей, которые делают такие передачи, ещё и нет вкуса. Я каждый раз, когда вижу эти говорящие головы, каждый раз, когда я их слышу, хочется заткнуть уши и не открывать, пока это не закончится.

ВАСИЛИЙ: А что с ними не так?

ПАВЕЛ: Ну вот эта передача, например, точно могла бы быть более изобретательной. Я имею в виду в плане выбора тем. Всё-таки ток-шоу были созданы, чтобы в одной студии собирались всякие эксперты и чтобы эти эксперты потом дискутировали на какие-то важные, актуальные темы. Вроде, так это должно работать.

Пауза.

ПАВЕЛ: Просто с таким же успехом ведь можно выпускать расследования про связь Ленина и грибов или искать коронавирусный след в морковке по-корейски или ещё где-нибудь его искать. Ну вы, короче, понимаете, о чём я.

ВАСИЛИЙ: Нет, Паша, короче мы тебя не понимаем.

ЕЛЕНА: Ни короче, ни длиннее.

ПАВЕЛ: Да я просто хотел... Слушайте, я просто искренне хочу, чтобы вы меня поняли. Потому что я вот думаю-думаю об этом, и у меня в голове как-то не может уложиться, почему у огромного числа людей, особенно пенсионеров, не обязательно, конечно, только пенсионеров, просто у них чаще всего, не возникает никаких, вообще никаких вопросов к тому, что им говорят по телевизору. И не возникает никаких сомнений, даже если то, что им там говорят, полная дичь.

ВАСИЛИЙ: А с чего ты взял, что по поводу этих новостей должны быть какие-то сомнения?

ПАВЕЛ: С того, что я умею пользоваться интернетом и читаю те новости, которым хотя бы можно верить.

ВАСИЛИЙ: Аaaa. Вот как. То есть своим новостям по телевизору я, видимо, верить не могу?

ПАВЕЛ: Штука в том, что ты только им и веришь.

ВАСИЛИЙ: Да, верю. Верю. А почему я должен им не верить. Или что, ты считаешь, что твои новости какие-то более правильные?

ПАВЕЛ: Нет, я так не считаю. У меня и нет никаких «своих» новостей. Есть просто новости, которые освещают факты. А если у тебя только одного плана новости, если ты их получаешь только из одного места, то ты сам себя лишаешь возможности выбора. Смотришь только то, что дают, и сам потом уже не понимаешь, что делаешь то, что от тебя хотят.

ВАСИЛИЙ *(скептически)*: А ты что, какой-то эксперт что ли в этом вопросе?!

ПАВЕЛ: Нет, да я просто думал...

ЕЛЕНА: Одного, да не одного плана новости. Какая разница, что в каких новостях говорят. Жить надо, а не языками чесать. Давайте оба уже помолчите и займитесь делами, а то мы так до ночи здесь можем сидеть.

Елена и Василий, немного отдохнув, начинают вставать.

ПАВЕЛ: Окей. Куда поставить сумки?

ЕЛЕНА: Поставь мой пакет на кухне.

ПАВЕЛ: Пап, и твой пакет тоже?

Василий медленно снимает верхнюю одежду. Елена немного придерживает мужа за локоть и медленно помогает ему раздеться. Павел ставит пакет с продуктами на кухне.

ВАСИЛИЙ: Оставь его у моего кресла рядом с телевизором. Я сам потом разберусь.

Павел смотрит на оба кресла. Они одинаковые.

ПАВЕЛ: Как мне понять, какое из них твоё?

ВАСИЛИЙ: На моём накидка.

Павел задумчиво смотрит на оба кресла и видит на обоих накидку. Василий, снимая куртку, вновь переводит внимание на сына.

ВАСИЛИЙ (полушёпотом): Лена, он точно мой сын?

ЕЛЕНА (полушёпотом): Ты что, с ума сошёл.

ВАСИЛИЙ (нормальным голосом): Просто поставь у любого.

ПАВЕЛ: Как скажешь.

Павел ставит сумку отца у кресла, а свою у шкафа рядом. Василий пытается вытащить ногу из ботинка, но это даётся ему с трудом.

ПАВЕЛ: Может, тебе помочь?

ВАСИЛИЙ: Паша, мне ведь пересадили почку, а не голову. Обувь я ещё не разучился снимать.

ПАВЕЛ: Ну кто знает, пап, может, ты стал жертвой эксперимента, и в тебя пересадили ещё какой-нибудь орган.

ВАСИЛИЙ: Глупостей не говори.

ПАВЕЛ: Мы когда с тобой из Москвы обратно ехали, я где-то в интернете вычитал историю, там врачи в каком-то городе после операции забыли в мужчине хирургический зажим, и он 17 лет носил его в себе. Представляешь? 17 лет. Хирургический зажим. Он 17 лет жил с этим зажимом внутри и каждый день мучился. Каждый день этот зажим мешал ему нормально жить. И представляешь, он даже ни разу не подумал сходить на обследование. Ходил такой спокойно на работу, гулял со своими детьми по паркам и детским площадкам, а потом вечерами сидел со своей женой у телевизора, обсуждал с ней планы на пенсию и такой говорил ей: «Дорогая, вот выйдем мы на пенсию и купим себе домик с огородом в деревне», а ночью перед самым сном жаловался ей на боль в животе, но как-то не решался сходить в больницу. А потом бам и всё. Человека не стало. Наверное, он думал, что так и должно быть. Просто носил этот зажим внутри и надеялся, что как-нибудь когда-нибудь само собой рассосётся.

ВАСИЛИЙ: Как ты про эту историю узнал?

ПАВЕЛ: Я же говорю, вычитал в интернете.

ВАСИЛИЙ: А там откуда узнали?

ПАВЕЛ: От врачей.

ВАСИЛИЙ: А они откуда узнали?

ПАВЕЛ: Со вскрытия.

ВАСИЛИЙ: Да ну тебя! Ничего хорошего в этом интернете.

ПАВЕЛ: Просто ты не умеешь им пользоваться.

ВАСИЛИЙ: Ты вот эту историю мне зачем рассказал?

Павел пристально смотрит на отца.

ПАВЕЛ: Хотел, чтобы ты не носил внутри никаких зажимов. И чтобы воспользовался тем временем, которое у тебя теперь появилось как-то более рационально, чем тот мужик.

ВАСИЛИЙ: Воспользуюсь, воспользуюсь. Не переживай.

Павел продолжает пристально смотреть на отца.

ВАСИЛИЙ: Да понял я тебя, Паша! Не стой над душой, иди уже занимайся своими делами.

ПАВЕЛ: Как раз хотел пойти в свою комнату.

ЕЛЕНА: Вася, ты помнишь, врачи сказали, чтобы ты не нервничал.

Павел уходит в свою комнату. Василий выдыхает и успокаивается. Затем снимает второй ботинок.

ВАСИЛИЙ: А я что, нервничаю? Я спокоен. Твой этот ведущий ведь закончил?

ЕЛЕНА: Да.

ВАСИЛИЙ: Значит, скоро уже начнутся мои новости. Слушай, раз ты уже разделась, поставь, пожалуйста, чайник.

ЕЛЕНА: Хорошо.

Елена уходит на кухню.

Василий медленно, держась за бок, проходит в гостиную, садится в кресло и берёт в руки пульт.

ВАСИЛИЙ: Я так давно не смотрел новости. Мне нужно знать, что произошло в мире.

Елена возвращается с кухни и садится рядом.

Павел выходит из своей комнаты и встаёт за своими родителями.

ЕЛЕНА: Вася, ты знаешь, тут столько всего происходит. Везде только про этот вирус и говорят. Как будто больше ничего другого нет. Хоть смотри, хоть не смотри телевизор, а так страшно становится. Тебя вот не было, Паши тоже когда не было, я здесь вообще чуть с ума не сошла. Бывает, вечером такое чувство накатывало, лежишь одна в пустой квартире и думаешь про этот вирус невидимый, а если сейчас что со мной случись, кому я буду звонить, куда я с этим пойду, что я буду делать...

ВАСИЛИЙ: ...спокойно доживать свою жизнь.

Пауза.

Василий устраивается в кресле поудобней.

ВАСИЛИЙ: И быть немного посмелей, Елена Ивановна.

ПАВЕЛ: А разве дело тут в смелости?

ВАСИЛИЙ: Ну а в чём?

ПАВЕЛ: Мне тоже иногда бывает страшно. Вот делаю что-то, вроде, знаю, как делать и для чего делаю, тоже знаю, а всё равно страшно. Страшно, чем у меня это дело закончится, и страшно, что не получится, или бывает страшно, что я просто теряю время. А времени, ты ведь сам знаешь, всегда мало. Вот и боишься. Боишься, что оно просто так пройдёт. Я вот квартиру взял в ипотеку, иногда на работе сижу когда, бывает, пойдёшь на обед, что-нибудь там купишь пожевать, ешь и думаешь: «И что, я теперь буду так жить ближайшие 15 лет?» И вот в ту же секунду, как об этом подумаешь, так сразу воздуха в лёгких перестаёт хватать, так что аж дыхание даже перехватывает.

ВАСИЛИЙ: Что-то вы оба какие-то боязливые. Просто надо больше делать и меньше думать. И брать на себя ответственность за решения тоже нужно, тогда не будет времени думать про страх. Решился — делай, а не зависай в процессе. Получилось — хорошо, не получилось — значит, не повезло, в следующий раз точно получится.

ПАВЕЛ: Да дело ведь не в везении. Просто иногда то, что у тебя есть, кажется очень хрупким.

ВАСИЛИЙ: Значит, если что-то с этим случится, можно купить новое.

ПАВЕЛ: А если это твоё здоровье или жизнь?

ВАСИЛИЙ: Что ты имеешь в виду?

ПАВЕЛ: Да я всё не могу выкинуть из головы этих бедных медиков в костюмах химзащиты с вокзала. Помнишь, как они там трясущимися руками температуру у нас мерили, а потом эти же руками предписания на принудительный карантин выписывали.

ВАСИЛИЙ: Да, помню. Картина маслом. Тут же у них и тесты, и какие-то бумажки, и градусники.

ЕЛЕНА: В каком смысле «принудительный карантин»?

ПАВЕЛ: Сказали, что теперь придётся сидеть в карантине 14 дней, иначе оштрафуют на большую сумму или даже могут посадить в тюрьму.

ЕЛЕНА: Ой-ой-ой, как же так. Я же говорю, всё, что сейчас происходит, — это очень страшно. Никогда такого ещё не было. А вот мало ли, Вася, ты заболел где-то, а я тут от тебя возьми да и заразись. И что тогда делать?

ВАСИЛИЙ: Ну а мне что делать? Ну хочешь, могу вернуться назад в клинику? Или могу устроить обсерватор в ванной? Или, чтобы вы все чувствовали себя в безопасности, могу переехать жить на дачу! Как вам такой вариант, а?!

ЕЛЕНА: Но у нас ведь нет дачи.

ВАСИЛИЙ: Ну так сначала, значит, я её куплю, а потом перееду. Вы чё тут оба с ума сходите, не успели мы зайти! Ты что, Паша, в Минздраве работаешь, или ты, может, врач какой, чтобы оценивать биологическую угрозу? А ты, Лена, тоже сидишь тут дома и решаешь, опасен этот вирус или не опасен. Вы только посмотрите на них, это, видимо, здесь четвёртый международный симпозиум инфекционистов у нас в квартире собрался.

ЕЛЕНА: Вася, пожалуйста, успокойся.

Длинная пауза.

ПАВЕЛ: Эmmm, стесняюсь спросить, где тогда был первый.

Елена смотрит на сына, он изгибо пожимает плечами.

ЕЛЕНА: Паша, вот это было лишним. Помолчи.

ПАВЕЛ: Извините.

ВАСИЛИЙ: Давайте вы оба сейчас коллективно помолчите, хорошо?

Василий достаёт из пакета тапочки и домашнюю одежду, чтобы надеть их.

ЕЛЕНА: Как думаешь, это всё серьёзно?

ВАСИЛИЙ: Лена, а я откуда знаю? Я был в больнице в Москве почти месяц. Что ты от меня сейчас хочешь?

ЕЛЕНА: Просто хочу спокойствия.

ВАСИЛИЙ: Хорошо. Смотри, сейчас я нажму кнопку, и ты его получишь.

Включает телевизор. Начинается блок новостей, и звучит музыка, которая обычно звучит перед выпусками новостей. Павел достаёт из кармана штанов телефон и ищет что-то в интернете.

АЛЕКСЕЙ: А сейчас коротко о главных новостях дня, и мы начинаем. Чемпионат Европы по футболу из-за пандемии перенесён, известный голливудский актёр Джаред Лето 12 дней медитировал в пустыне в одиночестве и вернулся в совершенно другой мир, президент Франции объявил коронавирус самой опасной инфекцией за последние 100 лет в Европе, премьер-министр Великобритании призывает британцев подготовиться к потерям, «Вашингтон Пост» выяснила, что темнокожие в США чаще болеют коронавирусом, причина — десятилетия

расовой дискриминации в медицинской сфере, американская корпорация Google (Гугл) создала робота-курьера, способного доставлять небольшие посылки, работает, правда, робот пока только на территории офиса компании, отдельная тема — «как вернуть россиян, застрявших из-за карантина за границей», регионы России вслед за Москвой продолжают последовательно бороться с коронавирусом, усиливая карантинные меры и полностью уходя в самоизоляцию. А также героический подвиг медиков, несущих круглосуточное дежурство в больницах и ежедневно рискующих своими жизнями. Но пока, к сожалению, статистика не на их стороне, и количество заболевших продолжает драматически расти.

ПАВЕЛ (*скептически*): Да уж, действительно драматически.

ВАСИЛИЙ: Тихо ты.

АЛЕКСЕЙ: Однако поводов для беспокойства нет, президент и правительство уже принимают все необходимые меры по недопущению распространения вируса. Одной из таких мер является недавно подписанный президентом закон, вводящий уголовное наказание за нарушение режима карантина в виде лишения свободы сроком до 2-х лет или штрафа в размере от 500 до 700 тысяч рублей.

Пауза.

Василий наклоняется в сторону телевизора.

АЛЕКСЕЙ: В такие минуты, как сейчас, многим может показаться, что наша страна слишком огромна, чтобы оперативно и чётко реагировать на такие угрозы, как COVID-19 (ковид 19). Но как и любое другое государство, оказавшееся сейчас в непростой ситуации, Россия — это одна большая семья, и только вместе мы сумеем преодолеть любые трудности. Об этом же сегодня в своём обращении говорил и президент. Также глава государства продлил нерабочие дни ещё на месяц и дал ответы на волнующие многих россиян вопросы.

ЕЛЕНА: Паша, а ты у нас надолго останешься?

ПАВЕЛ: Ну я вообще хотел к себе в квартиру ехать, но сейчас, видимо, придётся с вами оставаться на эти две недели. Мы какие-то бумаги на вокзале подписали, и нам сказали, что полицейские и врачи будут приходить и проверять соблюдение карантина. Так что побуду здесь. Вы же не против?

ВАСИЛИЙ: Нет, не против.

АЛЕКСЕЙ: Кроме того, глава государства сегодня обозначил меры, которые помогут России действовать на упреждение. Как именно нужно бороться с коронавирусом, на той или иной территории будут решать в первую очередь руководители регионов. Главные критерии здесь защищённость, здоровье и безопасность людей. Ну а теперь нам кажется правильным показать выступление президента целиком.

Василий хватается одной рукой за голову и мычит от боли. Президент по телевизору начинает своё обращение, но Павел берёт пульт и выключает телевизор.

ВАСИЛИЙ: Ай.

ПАВЕЛ: А мне кажется правильным выключить это.

ЕЛЕНА: Что с тобой?

ВАСИЛИЙ: Голова резко заболела. Как будто отвёртку в самый центр воткнули.

ЕЛЕНА: Сейчас принесу таблетки обезболивающие.

Пауза.

Елена встаёт и идёт на кухню.

ВАСИЛИЙ: И кто тебя просил выключать, Паша?

ПАВЕЛ: Мне кажется, эти новости дурно на тебя влияют.

ВАСИЛИЙ: Если ты про голову, то это из-за давления.

ПАВЕЛ: Пап, ну это точно не из-за давления.

ВАСИЛИЙ: Да нет, это именно что из-за давления.

ПАВЕЛ: Ты только что вернулся из клиники, где тебе пересадили орган. Его достали из одного человека и вставили в тебя.

ВАСИЛИЙ: Да, я знаю. И врачи так и не сказали мне, кто был этот донор.

ПАВЕЛ: А какая сейчас уже разница. Ему просто надо сказать спасибо, нет? Наверно, этому человеку было важно помочь другому, дать кому-то второй шанс. Может, даже он надеялся, что это что-то изменит в жизни того, кому эта почка достанется.

ВАСИЛИЙ: А ты откуда знаешь?

ПАВЕЛ: Да ниоткуда не знаю. Просто мысль в голове возникла. Но если бы не он, пап, ты бы точно лежал в больнице гораздо дольше. По статистике, кстати, средний срок ожидания почки примерно 4,5 года.

ВАСИЛИЙ: Опять прочитал в интернете?

ПАВЕЛ: Да, ну вот я искал всякую статистику по пересадкам, сам посмотри.

Павел показывает отцу экран телефона.

ВАСИЛИЙ: Не надо мне это показывать. Мне не интересно. Там ерунду всякую пишут, а ты читаешь.

ПАВЕЛ: Ну вот видишь. Как с тобой общаться.

ВАСИЛИЙ: Паш, ты вот с этой статистикой что-то конкретно хотел сказать?

ПАВЕЛ: Да я просто подумал... Знаешь, сколько я себя помню, ты всегда как будто только работал и смотрел телевизор. Больше ничего не было. Была только работа и телевизор. Я видел тебя или иногда в обед, когда приходил со школы пораньше, или уже вечером у телевизора. И мне всегда раньше казалось, что так и должно быть, что так у всех. Но вот сейчас, как только мы зашли, только почему-то именно сейчас, я как-то особенно обратил внимание, что первое, что ты сделал, это включил телевизор. Ну неужели тебя действительно больше ничего не интересует?

ВАСИЛИЙ: Я хочу знать, что происходит в мире.

ПАВЕЛ: Ты уже это говорил. Но парадокс в том, пап, что эти люди в телевизоре никогда не покажут тебе, что действительно происходит в мире.

ВАСИЛИЙ: Ты в этом так уверен?

ПАВЕЛ: Да, я в этом, чёрт возьми, уверен.

ВАСИЛИЙ: А откуда тебе знать?

ПАВЕЛ: Я просто знаю. Просто знаю об этом. Каждый раз, когда вижу эти их лица, и каждый раз, когда слышу, как они своими голосами со специальными такими ещё интонациями рассказывают то о бесконечном параде побед, то о каких-нибудь врагах, которым нас не достать из-за нового типа крылатых ракет, то о бесконечном демократическом государстве, гарантом которого является почему-то именно президент, хотя демократия — это в первую очередь люди, а не один человек. Они постоянно, постоянно подают вещи так, как будто нет никакой альтернативной позиции. Вместо того чтобы хоть немного рассказывать о настоящем положении дел и там, где это нужно, критиковать решения правительства.

ВАСИЛИЙ: Хочешь сказать, что они вот прямо вообще не критикуют?

ПАВЕЛ: Ну нет, ну они, конечно, критикуют. Да, конечно, они критикуют. Но не по-настоящему, и в основном они критикуют соседние государства, причём каждый раз это одинаковый набор стран, к которым они цепляются за любое происшествие, за любую мелочь, которая там проис-

ходит. Или иногда вообще высасывают новости из пальца. Но ведь можно же честно поговорить со зрителями о проблемах внутри страны, можно быть честными со своими зрителями, я не знаю, как-то уважать их, не думать, что люди будут хавать любую новость. Можно же выйти в эфир и сказать: «Да, знаете, у нас сейчас эпидемия, человечество давно с таким не сталкивалось, мы в полной заднице, никто наверху вообще не понимает, что с этим делать и как бороться, мы в телеке уж тем более, но мы точно будем с вами, чтобы информировать, сомневаться, задавать политикам на пресс-конференциях неудобные, но важные вопросы, да и просто по-человечески поддерживать». Потому что в цивилизованном мире, папа, это вообще-то и есть основные функции СМИ. А если уж твоё СМИ существует на деньги налогоплательщиков, то эти принципы должны быть выбиты на стенах каждой гримёрки, каждой студии, каждого офиса, где готовятся новости и куда ходят писать ведущие этих новостей.

ВАСИЛИЙ: Ну так ты про какой-то идеальный мир рассказываешь, Паша! Но мы от такого мира далеки. Что поделать?! Я вот когда выхожу из подъезда, вижу кучи проблем и понимаю, что этот мир далёк от идеального. Нигде нет идеального мира. Но это то, что мы сейчас имеем, потому что мы сами выбираем. И мне не нужно слушать об этом ещё и по телевизору. Потому что я это выбираю. Я хочу видеть хорошие новости, гордиться своей страной, перестать испытывать стыд за неё, поэтому я не хочу слушать, как кто-то из-за рубежа макает меня и страну, в которой я живу, лицом в грязь, хотя у них там у самих проблем хватает. Потому что я, чёрт возьми, сам это выбираю. А раз я сам это выбираю, значит, мне это и показывают!

ПАВЕЛ: Но есть же какая-то настоящая картина мира, а не параллельная реальность, не преувеличенная, не перевёрнутая, в которой живут обычные люди и им хочется правды, потому что они её, может, никогда в жизни даже не видели. Эти настоящие люди, они ведь не похожи на всех этих героев новостей или политиков, которые обвешаны георгиевскими ленточками, как грядка после дождя сорняками. Есть же, пап, и другие объективные мнения, и другие СМИ тоже есть, в интернете например. Там пишут новости про настоящую Россию.

ВАСИЛИЙ: О да, они есть. Конечно, есть. Всегда вылезают не к месту, как заусенец на пальце. Ну что, ты скажешь, что они не преувеличивают? Скажешь, что они не цепляются за каждую мелочь?

ПАВЕЛ: Пап, но они хотя бы пишут...

ВАСИЛИЙ: Да они напишут всё, что им говорят. А говорят им те, кто их финансирует.

ПАВЕЛ: Ха, ну и кто же их финансирует?

ВАСИЛИЙ: Да есть кому. Ты и сам прекрасно знаешь. У нас в стране полно всяких заинтересованных иностранных агентов.

ПАВЕЛ: Да это бред, пап. Ну какие агенты? Ты ещё шапочку из фольги надень.

ВАСИЛИЙ: Ты ничего не понимаешь.

Пауза.

ПАВЕЛ: Да, наверно, я ничего не понимаю. Я, пап, наверно, действительно ничего не понимаю. Окей. Но я точно понимаю, что нормальный человек после всего того, что ты пережил в больнице, идёт радоваться жизни. Или пить чай. Или у подъезда на лавочке сидеть. Ну или чем там обычно пенсионеры занимаются. Ладно, окей, сейчас такая обстановка с этим вирусом, радоваться нечему. Но это же всё-таки не волосы со спины на голову пересадить.

Павел достает из своего пакета несколько бумаг и смотрит на них.

ПАВЕЛ: Неужели тебе не хочется перевести своё внимание на нас, с нами о чём-нибудь поговорить, рассказать, как ты себя чувствуешь, как у тебя вообще дела, потому что я не знаю, читал ты все эти листовки, которые тебе выдал врач, или нет, но вообще, если читал, то тут на-

писано, что в первые месяцы после трансплантации у пациентов могут возникнуть побочные эффекты в виде смены эмоционального фона, проявлений злости, разочарования, чувства вины, депрессии. Депрессии, пап, чёрт возьми, депрессии. И я уж не знаю, как ты с таким буке-том можешь спокойно сидеть в кресле и пялиться в телевизор.

ВАСИЛИЙ: Да что ты от меня всё хочешь, не пойму. Всё споришь и споришь. Бубнишь что-то. Что тебе от меня надо? Что мне теперь с этими эффектами сделать, пойти наглотаться таблеток и больше не просыпаться?

ПАВЕЛ: Да не знаю, попробовать хотя бы прожить остаток своей жизни иначе.

Пауза.

ВАСИЛИЙ: Не нравится, как я живу, не нравится, что я говорю. Ну если тебе не нравится, Паша, тогда проваливай! А если хочешь остаться, тогда заткнись и молча занимайся своими делами.

ПАВЕЛ: Не разговаривай со мной так.

ВАСИЛИЙ: Я сказал, заткнись! Если хочешь здесь остаться, то придется заткнуться и слушаться меня. Сначала проживи жизнь, заведи детей, сделай что-то важное, а потом получи право разговаривать так, как хочешь. Я за свою жизнь всё это сделал, у меня вон работа была — соединял берега и строил мосты, которыми вся страна до сих пор пользуется. А ты что сделал?

ПАВЕЛ: Я хотя бы...

ВАСИЛИЙ: Молчи и слушай. Твоя работа и работа таких, как ты, — это пустышка, это ничего, этого нет в реальном мире. В том, что ты делаешь, всегда должен быть смысл, а если его там нет, то и тебя тоже нет. Я тебя так в детстве учил, нет?

ПАВЕЛ: Ну...

ВАСИЛИЙ: Так или нет?

ПАВЕЛ: А разве в том, что ты сейчас делаешь, есть смысл?

ВАСИЛИЙ: Замолчи, я тебе сказал! Не тебе спорить со мной о смысле. Я больше твоего прожил, я больше знаю.

ПАВЕЛ: Ты делаешь мне больно, отец. Я люблю свою работу. Я люблю программировать. И я хочу, чтобы мной гордились.

ВАСИЛИЙ: После вас ничего не останется, потому что вы ничего не создаёте. Это же уму непостижимо, какие громадные деньги вы зарабатываете. И что приносит эта работа? Как это можно пощупать? А теперь посмотри на врачей, им платят копейки, а вы, сидя на заднице, получаете сотни тысяч. Ну где здесь смысл? Я его найти не могу. Я его не вижу. Мне непонятно, почему в этом мире труд программистов ценится больше, чем труд людей, спасающих жизни. Когда я был молодым, работал в проектной институте, такое вообще было сложно представить. Так что тут нечем гордиться.

ПАВЕЛ: Ты только и говоришь о своей работе, как ты ей гордишься, как тебе дороги твои мосты. Сколько ты их за всю свою жизнь построил, а со мной так ни одного навести и не смог.

Елена приходит с кухни с таблеткой и стаканом воды. Она смотрит на мужа и сына.

ВАСИЛИЙ: Потому что меня бесит то, чем ты занимаешься.

ЕЛЕНА: Так, ну-ка, ополоумели вовсе. Давайте ещё поубивайте друг друга. Что тут случилось?

ПАВЕЛ: В тебе столько злости. Помнишь, когда-то давно, когда я провалил экзамены в университете и мне пришлось уйти в армию, ты сказал, что всё равно мной гордишься? Ты тогда сказал, что гордишься своим сыном. Ты обещал, что всегда будешь гордиться, что бы ни случилось. Ты помнишь это?

Василий молчит в ответ на вопрос Павла.

ПАВЕЛ: Ну чего ты молчишь, батя?

Пауза.

ПАВЕЛ: Ты мне тогда обещал. Ты обещал мне.

Елена стоит со стаканом и таблетками. Василий глотает таблетки, запивая их водой.

ПАВЕЛ: Всё в порядке, мам. Вы простите, что я, наверно, как-то нарушил ваш покой. Мне просто хотелось сделать всё как-то по-человечески. Я лучше пойду отсюда.

Павел берёт в руки упаковку обезболивающего и крутит её в руках. Василий молча смотрит на экран выключенного телевизора.

ПАВЕЛ: Мам, постарайся давать ему поменьше этих таблеток. Врач сказал, что если мешать его лекарства с такими обезболивающими, то это может быть смертельно опасно.

ЕЛЕНА: Ну конечно. Сейчас ему надо беречься. Пойдём со мной ненадолго, кое-что надо тебе сказать.

Елена отводит Павла в его комнату.

ЕЛЕНА: Паша, он это не серьёзно.

ПАВЕЛ: Я понимаю. Но мне сейчас здесь по-человечески некомфортно.

ЕЛЕНА: Да плюнь и не бери в голову. Мало ли что он сказал.

ПАВЕЛ: Нет, ты не понимаешь. Он мне обещал. А когда обещают, держат слово.

ЕЛЕНА: Ну куда ты сейчас пойдёшь? Вам же нужно сидеть в карантине. Ты сам говорил, что вы какие-то бумаги на вокзале подписали. Ты вот сейчас выйдешь, и вдруг тебя арестуют?

ПАВЕЛ: Мам, да никто меня не арестует. Я бы даже и без карантина остался с вами. А сейчас уже не могу. У меня в груди всё сдавило и плакать хочется.

ЕЛЕНА: Ну-ка, покажи, где именно сдавило?

ПАВЕЛ: Вот здесь.

Павел показывает маме на свою грудь.

ЕЛЕНА: А подбородок не болит?

ПАВЕЛ: А почему он должен болеть?

ЕЛЕНА: Потому что саечка.

ПАВЕЛ: Эй, так не честно.

Павел смеётся, мама улыбается.

ЕЛЕНА: Смех — лучшее лекарство от обиды.

ПАВЕЛ: Спасибо. Но я всё равно не могу остаться. Мне хочется побыть одному.

Пауза.

ПАВЕЛ: Знаешь, самое смешное, что когда он всё осознает, ему в итоге будет больнее, чем мне.

Василий долго задумчиво сидит, затем включает телевизор, в котором президент заканчивает своё обращение, после чего ведущий анонсирует следующую передачу.

АЛЕКСЕЙ: На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск новостей. А прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Холодная зима 41-го» о победах специального лыжно-диверсионного отряда в первые годы Великой Отечественной войны. В сегодняшней серии герои сериала, помимо схватки с немецким гарнизоном, будут рассуждать о долгой и счастливой жизни после окончания войны. А я желаю вам приятного просмотра, и не переключайтесь.

Раздаются выстрелы, рвутся гранаты, играет героическая музыка. Павел возвращается в гостиную и уже собирается двигаться в направлении двери, как останавливается и подходит к своему пакету, из которого достаёт две пары наушников и вставляет их в телевизор, звук переходит туда. Василий надевает их.

ПАВЕЛ: Это я вам купил, чтобы мы друг другу не мешали. Вы бы смотрели телевизор, а я спокойно работал онлайн из своей комнаты. Можете ими пользоваться, а можете не пользоваться. Как хотите. В любом случае так вы хотя бы будете слышать свои мысли.

ЕЛЕНА: Ты не передумашь?

ПАВЕЛ: Нет.

ЕЛЕНА: Ладно, позвони тогда, как доберёшься.

ПАВЕЛ: Вы уже будете к этому времени спать.

ЕЛЕНА: Тогда напиши смс.

ПАВЕЛ: Окей.

Павел забирает пакет и уходит, но перед этим останавливается в дверях. Елена смотрит ему вслед, а Василий снимает наушники, из которых слышно военное кино.

ПАВЕЛ: Надеюсь, этот парад бесконечных побед для вас когда-нибудь закончится.

Павел уходит. Родители остаются в тишине, прерываемой звуками из наушников.

ЕЛЕНА: Иди догони его и извинись.

ВАСИЛИЙ: Мне не за что извиняться.

Пауза.

ЕЛЕНА: И что, ты ничего с этим не сделаешь?

ВАСИЛИЙ: А что тут сделаешь. Он сам так решил.

ЕЛЕНА: Тогда иди пей чай. Хотя он, наверно, уже остыл.

ВАСИЛИЙ: А ты?

ЕЛЕНА: Сейчас тоже приду.

Из окна в квартиру красиво опускается свет от Луны. Елена смотрит на него.

ЕЛЕНА: Смотри, какой красивый свет идёт от Луны.

ВАСИЛИЙ: Красивый. Но это просто свет. Свет, который Луна отражает от Солнца.

ЕЛЕНА: Пусть будет так.

ВАСИЛИЙ: Видишь, Лена, кругом обман.

ЕЛЕНА: Нет, посмотри, свет настоящий.

Пауза.

Оба смотрят на этот свет.

ВАСИЛИЙ: Сегодня я очень устал.

ЕЛЕНА: Мы все сегодня очень устали.

Оба уходят на кухню.

ЗАНАВЕС.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Вечер. Квартира Пегасовых.

Комментарий постановочной группе: прошло 6 дней с тех пор, как Василий вернулся из Москвы.

Елена и Василий в домашней одежде вместе пьют чай за столом. На столе стоит самовар.

ВАСИЛИЙ: Лена, я вот всё думаю, а зачем нам вообще самовар? У нас же нормальный чайник есть. А то пока он нагреется, карантин уже успеет закончиться.

ЕЛЕНА: Вообще-то это было моё приданое.

ВАСИЛИЙ: Приданое?

ЕЛЕНА: Да. Я тогда поскорее хотела выйти замуж и уехать от родителей, а отец мне сказал: «Отдам тебя только с этим самоваром, если жених твой откажется его забирать, то до самой старости в девках у меня сидеть будешь». А потом уже, когда ты приехал свататься, он тебе его заодно и отдал. Так что хорошо, что ты тогда не отказался.

ВАСИЛИЙ: А я про это даже и не знал. Это что у вас, какое-то семейное проклятье из-за самоваров?

ЕЛЕНА: Нет, просто мы же тогда в Туле жили, папа работал на заводе, где делали патроны и самовары, и ему постоянно выписывали премию в самоварах, причём так часто выписывали, что даже хранить их было негде. Вот папа и придумал такое приданое.

Пауза.

Елена иронично пожимает плечами, делает глубокий глоток чая.

ЕЛЕНА: Он и сестру мою сватал тоже с самоваром.

ВАСИЛИЙ: *(смеётся)* Ох, Лена, ну ты скажешь, так скажешь. С твоими историями можно ещё один карантин пересидеть.

ЕЛЕНА: Надо просто позитивней быть, и всё.

ВАСИЛИЙ: Ну жизнь уж такая есть, такая и есть. Я поэтому и говорю, что с твоими историями как-то веселее. Если и будем умирать, то только вместе.

ЕЛЕНА: Нам пока ещё рано умирать. Тебе вон операцию сделали. Кровь с молоком. Жить да жить ещё.

ВАСИЛИЙ: Ну хорошо, хорошо.

Пауза.

ЕЛЕНА: Сейчас так смешно про это приданое вспоминать. Папа, конечно, шутил, что в девках оставит, просто хотел место в доме освободить. А то ведь от премии-то не откажешься, люди не поймут. Я вот ещё думаю иногда, тебе не кажется, что раньше люди всё-таки были как-то добрее?

ВАСИЛИЙ: Да, наверное. Раньше никто никуда не торопился, всегда хватало времени, чтобы послушать, что тебе говорят. Так вот остановишься, расскажешь, тебя выслушают, может, что-то посоветуют, и потом даже вроде и жить легче. А сейчас все куда-то разогнались. Хотя вот с этим коронавирусом, мне кажется, всё снова замедлилось, и у людей хош не хош появилось время послушать, подумать хорошенько, что им делать-то друг с другом, когда они так надолго в одной квартире оказались заперты.

ЕЛЕНА: Да у нас вся страна сейчас, как одна квартира. Сидим в ней все, только по разным комнатам. Кому-то вот повезло на кухне присесть, а кого-то припёрло в туалете.

ВАСИЛИЙ: Это ты точно подметила. Я тут думал, ты только ничего такого сейчас не подумай про меня, но если так рассудить, то карантин мне даже нравится. Потому что можно не торопиться, можно подумать и что-то такое важное понять.

ЕЛЕНА: Ну и что ты понял?

ВАСИЛИЙ: Понял, что у меня осталось очень мало сил внутри. И надо как-то доживать эту жизнь.

ЕЛЕНА: Да не думай об этом, не заморачивайся. Лучше пей чай.

Василий кивает головой и делает большой глоток чая.

Пауза.

ЕЛЕНА: А знаешь, зря ты его тогда не догнал. Очень нехорошо с твоей стороны получилось.

ВАСИЛИЙ: А зачем мне его догонять? Я же говорю тебе, что нет у меня сил внутри. В этой стране никто не хочет слушать пенсионеров. Никому наш брат не нужен. Даже вот собственные дети не хотят слушаться. Вон в Китае посмотри, как уважительно относятся к старикам. Поэтому у них там и порядок.

ЕЛЕНА: Да? А это не потому, что там коммунисты у власти?

ВАСИЛИЙ: Ну, может, ещё и поэтому, конечно. Я когда-то по телевизору слышал, не знаю уж, правда это или нет, что они там за взятку отправляют чиновников на смертную казнь. У нас, наверно, могло быть так же, если бы коммунисты наконец выбрались из мавзолея.

ЕЛЕНА: Хорошо там, где нас нет, я считаю.

ВАСИЛИЙ: Да, в общем, и сейчас тоже неплохо. Я не жалею. Могло, конечно, быть и по-лучше, но всё равно неплохо.

ЕЛЕНА: А ты никогда не думал, как бы у нас всё было при другой власти?

ВАСИЛИЙ: Нет, а зачем мне об этом думать. Я живу сегодняшним днём.

ЕЛЕНА: Ну а что, сегодня не может ничего измениться?

ВАСИЛИЙ: Вот так полностью вряд ли.

ЕЛЕНА: А мне кажется, что большие изменения как раз так и происходят. Просто живёшь, живёшь и бац, по телевизору по всем каналам показывают балет и всё в стране переворачивается.

ВАСИЛИЙ: Ну ты не забывай, что никто тебе не даст гарантий, что по-другому — это обязательно лучше.

ЕЛЕНА: Ну конечно, я всё это понимаю. Просто иногда думаю, как бы у нас всё было, если бы было по-другому. А то ведь у нас по-другому то и не было. Поэтому мы ведь и не знаем, будет по-другому лучше или хуже. Хотя сейчас меня, конечно, всё устраивает. Тут грех жаловаться. Пенсию платят, полки в магазинах всегда полные, жильё есть. Но ведь к хорошему быстро привыкаешь, и уже хочется чего-то другого.

ВАСИЛИЙ: Это вы, Елена Ивановна, зажрались.

ЕЛЕНА: Ни капли.

ВАСИЛИЙ: Ну вот давай, ты говоришь, что хочешь по-другому. А как это? Что именно по-другому ты хочешь?

ЕЛЕНА: Да я и сама не знаю, если честно. Всю жизнь как будто варю один и тот же борщ, а другой суп никак руки не доходят сделать.

ВАСИЛИЙ: Ну вот ты даже нормально не можешь объяснить, чё именно ты хочешь.

ЕЛЕНА: Хорошо. Ну вот смотри, у тебя же есть машина?

ВАСИЛИЙ: Да, есть.

ЕЛЕНА: Вот ты едешь на ней уже больше 7 лет. Едешь по городу, едешь за город, едешь на техосмотр, меня тоже возишь в магазин, сам куда-то едешь по делам. Едешь на ней туда-сюда. Сначала тебе очень нравится, потом ты привыкаешь, а после этого тебе надоедает. Потому что машина начинает протекать, где-то ты меняешь в ней детали, где-то тебе механики в мастерской меняют, где-то ты недоволен её работой. Бывает так?

ВАСИЛИЙ: Да, бывает.

ЕЛЕНА: Ну и вот, приезжаешь ты потом домой и говоришь, что было бы неплохо на своём веку ещё на какой-нибудь другой машине поездить. А если ещё и Паша приезжает, то ты об этом даже чаще начинаешь говорить. Может, это, конечно, случайно так выходит. Но это ты кому-нибудь другому лучше рассказывай, а передо мной можешь душой не кривить. Я, может, и глухая, но не слепая.

ВАСИЛИЙ: И к чему ты клонишь?

ЕЛЕНА: Я это клоню к тому, что машины новой тебе уже не видать, но ведь всё равно хочется попробовать что-то новое?

ВАСИЛИЙ: Конечно, хочется.

ЕЛЕНА: Ну вот и я о том же.

ВАСИЛИЙ: Ясно.

Пауза.

Елена делает большой глоток и допивает чай. Затем достаёт из маленького ящика под ногами нитки и начинает вязать.

ЕЛЕНА: Всё-таки ты был тогда не прав. Надо было его догнать.

ВАСИЛИЙ: Лена, шесть дней уже прошло, как он ушёл. Ну давай сейчас по второму кругу начнём это обсуждать. Мне 67, на улице карантин, куда я должен бежать?! Ты вот вообще, видимо, не понимаешь?! А если меня поймают и посадят? Ты этого хочешь?

ЕЛЕНА: Нет.

ВАСИЛИЙ: Ну вот. Сиди не возмущайся тогда.

ЕЛЕНА: Ну хоть позвони ему, поговори, спроси, как дела.

ВАСИЛИЙ: Да прекрати ты. Он тебе по телефону звонит?

ЕЛЕНА: Да, позавчера звонил. Разговаривали с ним немного.

ВАСИЛИЙ: У него нормально всё?

ЕЛЕНА: Да, сидит сейчас дома, работает тоже из дома.

ВАСИЛИЙ: Ну так чё ты мне тогда мозги компостируешь. Каждый день одно и то же, вот ты каждый день мне про этот скандал напоминаешь. Надоела уже.

Василий встаёт, идёт в коридор, садится на комод, придерживаясь за бок, и начинает очень медленно одеваться.

ЕЛЕНА: Куда это ты лыжи наострил?

ВАСИЛИЙ: Да прогуляюсь до магазина. А то на столе, кроме чая, только крошки.

ЕЛЕНА: Ну давай.

ВАСИЛИЙ: Хоть подышу немного один, а то тяжело мне с тобой в четырёх стенах.

ЕЛЕНА: Ааа, ну конечно, тяжело ему, иди погляди на других, таких же, как ты, уставших, а я из окна понаблюдаю, как вас всех вместе полиция повяжет.

ВАСИЛИЙ: Да кому я, старый, нужен.

Пауза.

ЕЛЕНА: За ним не побежал, а в магазин так собрался. Ну ты, конечно, даёшь, Вася.

ВАСИЛИЙ: А я что, должен перед тобой отчитываться. Я никому ничего не должен. У меня никаких угрызений по этому поводу нет. Это моё право. Моё право так поступать. Или ты что думаешь, если я сделал так, как тебе не нравится, то сразу должен бежать куда-то извиняться. Нет. Это моё право быть неправым. Да и вообще, кто решает, кто прав, а кто не прав? Это ты что ли решаешь? Если такие, как ты, то ничего хорошего точно не выйдет.

ЕЛЕНА: Это почему?

ВАСИЛИЙ: Да вы же хуже палачей.

ЕЛЕНА: Да уж правда.

ВАСИЛИЙ: Ну ты ведь со мной смотришь новости, вчера вечером тоже смотрела, сама же видишь, как в Европе и в США всякие эти меньшинства постоянно протестуют, то им какая-нибудь статуя не нравится, то название станции метро кого-то лично задевает, то какой-нибудь известный актер ущемит своими словами чьи-то права, то ещё что-нибудь у них там происходит, хотя никто при этом не может объяснить, как это конкретно на их жизни влияет. Нет, я их, конечно, понимаю, наверно, есть с этой статуей или с метро какие-то проблемы, я вовсе не отрицаю, но ведь если их просто уничтожить, то саму историю ведь это не изменит. Она ведь уже написана, её же резинкой так просто не сотрёшь. Чё они разве сами этого не понимают.

ЕЛЕНА: Ну а по-твоему, для чего они тогда это делают? В чём смысл?

ВАСИЛИЙ: Да нет никакого смысла.

ЕЛЕНА: Ты иногда так много говоришь, что к концу разговора я уже начинаю теряться.

ВАСИЛИЙ: Да уже не важно. Ладно, я пошёл.

Раздаётся звонок мобильного телефона Елены. Он лежит на тумбочке рядом с телевизором. Елена сидит на кухне и не слышит звонок. Василий останавливается и зовёт Елену.

ВАСИЛИЙ: Лена.

Елена сосредоточенно вяжет и не слышит.

ВАСИЛИЙ: Лена!

Елена вздрагивает.

ЕЛЕНА: Да что?!

ВАСИЛИЙ: Телефон.

ЕЛЕНА: Слышу, слышу.

ВАСИЛИЙ: Вдруг это президент звонит.

Елена складывает принадлежности для вязания и идёт к телефону.

ЕЛЕНА: Ага, два. Что мне теперь каждый раз бежать к телефону?

ВАСИЛИЙ: Я же бегаю.

ЕЛЕНА: Ну я ведь не ты, мне не звонят, не предлагают кредит в банке.

Елена берёт в руки телефон.

ЕЛЕНА: Это Паша.

ВАСИЛИЙ: Ну ладно.

Елена отвечает на звонок и садится обратно за стол на кухне, где у неё лежат принадлежности для вязания.

Василий садится на комод, берёт авоську с вешалки, кладёт её в карман и слушает разговор Елены.

ЕЛЕНА: Да нормально дела. Сидим дома. Ааа, думала, вас в офис не вызывают, карантин же. Ну ладно. Холодильник вот уже пустой. Ну так мы шесть дней уже дома, запасы все съелись. Да он собрался идти в магазин. Сидит тут в коридоре. Ну я ему то же самое сказала. Хочешь с ним поговорить?

Василий показывает жестами, что не хочет разговаривать.

ЕЛЕНА: Ну ладно. Потом тогда. Смотри, если будет время, после работы заезжай. Только ты позвони сначала. Ааа, ну если у вас там телефон не ловит, пиши тогда смс. Ладно, давай, пока.

Елена кладёт трубку.

ВАСИЛИЙ: Чё ты суёшь мне трубку, знаешь же, что не хочу разговаривать.

ЕЛЕНА: Ну ты и чечка.

ВАСИЛИЙ: Что говорит?

ЕЛЕНА: Говорит, на работу вызвали в офис. Вот собрался ехать.

ВАСИЛИЙ: Так карантин же?

ЕЛЕНА: Ну а я откуда знаю. Сказали и поехал.

ВАСИЛИЙ: Понятно.

ЕЛЕНА: Сказал, что, может быть, заедет и привезёт продукты.

ВАСИЛИЙ: Ну так чё мне теперь его сидеть ждать. Заедет и заедет. Холодильник же есть. Ладно, я пошёл.

ЕЛЕНА: Да, иди уже, иди.

Василий открывает дверь, а там стоит участковый в защитной маске. У него в руках какие-то бумаги и ручка.

УЧАСТКОВЫЙ: Капитан Чехов, здравствуйте. Я новый участковый здесь на районе. Меня уполномочили проверить соблюдение карантина у граждан, которые недавно прибыли из Москвы или Санкт-Петербурга. Скажите, я правильно понимаю, это квартира Пегасовых?

ВАСИЛИЙ: Да, всё верно.

УЧАСТКОВЫЙ: Могу я ненадолго войти?

ВАСИЛИЙ: Входите.

Участковый заходит в квартиру и осматривается.

ЕЛЕНА: Вася, кто там?

УЧАСТКОВЫЙ: Здравствуй, капитан Чехов. Проверяю соблюдение гражданами карантина. Мне нужно поговорить с вашим мужем и сыном.

ЕЛЕНА: Нам тут ещё большей драмы только не хватало.

УЧАСТКОВЫЙ: Не понял?

ВАСИЛИЙ: Лена, иди лучше посмотри этот сериал... Как там его... Про зиму 41-го. Вы извините, пожалуйста, мы тут почти неделю безвылазно сидим. Крыша уже, знаете ли, совсем едет.

Пауза.

Елена берёт с собой нитки для вязания и коробку, идёт к телевизору и усаживается смотреть его в наушниках. Слышны звуки сериала про войну. Участковый снимает маску, осматривает квартиру и несколько раз кашляет, затем заполняет что-то в своих бумагах.

УЧАСТКОВЫЙ: Да, могу себе представить, сейчас многим на карантине тяжело. Особенно тяжело долго сидеть дома. Кстати, очень хороший сериал, этот, про который вы сейчас сказали.
ВАСИЛИЙ: Ааа. Спасибо. Ну мы любим смотреть фильмы и сериалы про Великую Отечественную.

Участковый смотрит в телевизор, затем осматривает квартиру и переводит взгляд на Василия.

УЧАСТКОВЫЙ: Понимаю. Ну ладно. Вы, очевидно, Василий Алексеевич Пегасов?

ВАСИЛИЙ: Да, это я.

УЧАСТКОВЫЙ: А это ваша супруга Елена Ивановна Пегасова?

ВАСИЛИЙ: Всё правильно. Что-то случилось? Мы как-то неправильно соблюдали карантин? Или полиция теперь доставляет продукты тем, кто должен в самоизоляции сидеть? А то знаете, выходить нельзя, а кушать-то хочется.

УЧАСТКОВЫЙ: Василий Алексеевич, я всё прекрасно понимаю. Но продукты мы не доставляем. Вы можете найти в интернете телефоны волонтерских организаций, которые сейчас этим занимаются, или можете воспользоваться любым удобным сервисом доставки. Их в интернете полно. На худой конец, если есть родственники или взрослые дети, можно попросить их. Кстати, я вижу, что при просмотре на вокзале свои данные оставляли вы и ваш сын Павел. Где он, кстати? Могу я удостовериться, что он находится вместе с вами на карантине?

ЕЛЕНА: Это точно может закончиться драмой.

ВАСИЛИЙ: Извините, но удостовериться не получится.

УЧАСТКОВЫЙ: Почему?

ВАСИЛИЙ: Мы поссорились, и он от нас уехал.

УЧАСТКОВЫЙ: И куда он уехал?

ВАСИЛИЙ: Не знаю, сказал, что поедет к друзьям жить.

УЧАСТКОВЫЙ: Но прописан-то он здесь. И в документах на вокзале указывал, что будет жить здесь.

ВАСИЛИЙ: Но получилось вот так.

УЧАСТКОВЫЙ: А адрес он вам оставлял?

ВАСИЛИЙ: Ну если бы оставлял, я бы точно запомнил.

Участковый пристально смотрит на Василия и поглядывает на Елену. Она поглощена просмотром телевизора и вязаньем.

УЧАСТКОВЫЙ: А номер телефона его есть?

ВАСИЛИЙ: Да, есть.

УЧАСТКОВЫЙ: Напишите мне его.

ВАСИЛИЙ: Хорошо.

Участковый переворачивает лист и даёт Василию ручку, чтобы тот написал на бумаге номер телефона Павла.

ВАСИЛИЙ: Вот.

Участковый тут же достаёт телефон и пытается позвонить.

УЧАСТКОВЫЙ: Сейчас попробуем ему позвонить.

ВАСИЛИЙ: Если он на работе, то наверно не ответит.

УЧАСТКОВЫЙ: А кем он работает?

ВАСИЛИЙ: Да программистом в какой-то компании.

УЧАСТКОВЫЙ: Ммм, никогда не понимал, чем они занимаются.

ВАСИЛИЙ: Да я в этом тоже ничё не понимаю, но голова у него в эту сторону очень хорошо работает.

УЧАСТКОВЫЙ: Так, вроде, гудки пошли...

Участковый держит телефон у уха.

УЧАСТКОВЫЙ: Слушайте, говорит, что «аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети».

ВАСИЛИЙ: Я же говорил.

Участковый убирает телефон в карман.

УЧАСТКОВЫЙ: Ладно. Потом ещё раз позвоню ему из отделения.

ВАСИЛИЙ: Это как-то серьёзно, да, карается?

УЧАСТКОВЫЙ: Ну как сказать. Закон вообще штука серьёзная. Тем более сейчас, когда из-за коронавируса всё ужесточили. Это ведь не шутка. Вы поймите, что его могут на круглую сумму оштрафовать. А если он ещё и вас заразит, то его вообще посадят.

ВАСИЛИЙ: Да я понимаю, понимаю. Ну а вот скажите, какой смысл в том, что вы штрафуете? Люди ведь от этого меньше болеть не станут.

УЧАСТКОВЫЙ: Знаете, полиция штрафует не потому, что в этом есть смысл, а потому, что есть закон. Раз есть закон, значит, его нужно соблюдать.

ВАСИЛИЙ: Даже если в нём нет никакого смысла?

УЧАСТКОВЫЙ: Я здесь просто делаю свою работу. Мне сказали проверять людей по списку, дали список, вот я их и проверяю.

ВАСИЛИЙ: Конечно, конечно. Просто хочу понять, какой вообще смысл держать людей дома. Что мы все тут насидим?

УЧАСТКОВЫЙ: Я не понимаю, что вы конкретно от меня хотите?

ВАСИЛИЙ: Ну вы же из полиции, вы представитель власти. Вот вы мне как представитель власти и скажите, зачем такие эксперименты проводить над людьми? Мы сидим тут около недели и уже с ума потихоньку сходим, а что происходит с пьяницами и с теми, у кого с головой не в порядке, я вообще боюсь представить. Раньше они хотя бы на работу ходили, пили там где-то с друзьями, а теперь ведь они все дома сидят. И они там явно не в шахматы играют с жёнами и с детьми.

УЧАСТКОВЫЙ: Знаете, я тоже об этом думаю, и радости мне эти мысли не приносят. Но конкретно я ничего сделать не могу. Мне поставили задачу, я её выполняю. А если кто-то подвергается дома насилию, пусть звонит в полицию.

ВАСИЛИЙ: Понятно.

УЧАСТКОВЫЙ: Значит, вы даже примерно не знаете, по какому адресу может находиться ваш сын?

ВАСИЛИЙ: Знаю только, что он где-то в городе.

УЧАСТКОВЫЙ: Ну хорошо. А почему вы в одежде стояли у двери?

ВАСИЛИЙ: Хотел сходить до мусоропровода и выкинуть мусор.

УЧАСТКОВЫЙ: В куртке и ботинках?

ВАСИЛИЙ: Да, на лестничной площадке ведь холодно, сами понимаете, берегу себя, чтобы не заболеть.

УЧАСТКОВЫЙ: А где тогда мусор?

ВАСИЛИЙ: Не успел собрать к вашему приходу.

УЧАСТКОВЫЙ: Нда. Ну Бог с вами. Ладно.

Полицейский делает какие-то заметки в своих бумагах и даёт их Василию вместе с ручкой.

УЧАСТКОВЫЙ: Пожалуйста, распишитесь здесь и здесь, что я был у вас и проверил нахождение на карантине. С сыном вашим я ещё потом свяжусь.

Василий расписывается и отдаёт их назад.

ВАСИЛИЙ: Хорошо. Скажите, а когда мы сможем уже выйти из карантина или хотя бы просто выйти на улицу?

УЧАСТКОВЫЙ: Вы обязаны провести дома на карантине 14 дней. Этот срок считается со дня прибытия из Москвы по месту прописки. Жена ваша тоже, раз контактировала с вами, должна провести столько же, не выходя из дома.

ВАСИЛИЙ: А потом мы свободны?

УЧАСТКОВЫЙ: Не совсем. Врачи рекомендуют пенсионерам в любом случае оставаться дома на самоизоляции. Особенно если у них есть хронические заболевания или они недавно перенесли операцию, иначе очень высок риск заразиться коронавирусом.

ВАСИЛИЙ: Ну вот мне в Москве делали пересадку почки, а моя жена вообще диабетик.

УЧАСТКОВЫЙ: Значит, вы оба в зоне риска.

ВАСИЛИЙ: Неужели всё так серьёзно?

УЧАСТКОВЫЙ: Ну так вы видите, я сам в маске. Всё очень серьёзно. У меня так недавно дядя умер и одна из трёх сестёр заразилась, сейчас в красной зоне в больнице лежит.

ВАСИЛИЙ: Сочувствую.

Пауза.

УЧАСТКОВЫЙ: Это была шутка. Полицейский юмор.

ВАСИЛИЙ: Да, я так и понял.

УЧАСТКОВЫЙ: Ладно. Я к вам или сегодня попозже ещё раз зайду, вдруг ваш сын вернётся, или уже на следующей неделе меня ждите. Всего доброго, и, пожалуйста, не нарушайте карантин, чтобы вас потом не оштрафовали.

ВАСИЛИЙ: Хорошо. До свидания.

Полицейский открывает дверь и уходит.

ВАСИЛИЙ: Лена, давай-ка ты тогда сходи до магазина.

Елена не слышит и продолжает смотреть в наушниках сериал. Василий подходит поближе.

ВАСИЛИЙ: Лена! Слышишь, нет?!

ЕЛЕНА: Да! Обязательно кричать? Видишь же, я сериал досматриваю.

ВАСИЛИЙ: Так он уже закончился. Ты смотришь, как идут титры.

ЕЛЕНА: А мне нравятся титры. Здесь музыка красивая.

Василий смотрит на экран телевизора, по которому ползут титры, и прислушивается к музыке из наушников.

ВАСИЛИЙ: Ну, кто там сегодня победил?

ЕЛЕНА: Так наши победили. В каждой серии побеждают. Это же сериал о Победе.

Василий выключает телевизор. Елена прекращает вязать.

Пауза.

ЕЛЕНА: Слушай, а тебе не кажется, что мы тоже как будто в сериале про Победу живём?

ВАСИЛИЙ: Что ты имеешь в виду?

ЕЛЕНА: Ну я вот заметила, что по телевизору постоянно про какие-нибудь победы рассказывают, новости всегда только хорошие, сериалы да фильмы вот про войну тоже стали чаще показывать. Мне иногда кажется, что я в каком-то замкнутом круге нахожусь, варю этот свой бесконечный борщ и смотрю нескончаемый сериал о войне.

ВАСИЛИЙ: Лена, ну если кажется, надо креститься. Давай с ума не сходи. Это на тебя так, наверно, самоизоляция влияет. У меня тоже мозги уже из ушей вылезают.

ЕЛЕНА: Да, может, и так.

Пауза.

ВАСИЛИЙ: Слушай, у меня для тебя партздание есть. Надо сходить за едой в магазин. А то мы долго так с тобой не проживём.

ЕЛЕНА: Ты же хотел сам прогуляться.

ВАСИЛИЙ: Ну так видишь, я подпись тогда на вокзале поставил, и теперь я у них где-то в базе записан. Сунусь на улицу, и привет. А за тобой никакой слежки нет. Так что давай собирайся. А я пока новости посмотрю.

Елене на телефон приходит смс. Телефон лежит на кухонном столе. Елена поворачивается в его сторону и хочет пойти посмотреть, что за смс.

ВАСИЛИЙ: Это опять, наверно, смска от МЧС пришла. Потом прочитаешь. Давай собирайся уже.

ЕЛЕНА: А чё ты так торопишься?

ВАСИЛИЙ: Есть хочу, вот и тороплюсь.

ЕЛЕНА: Может, ты тогда просто Паше позвонишь. Что тут сложного, извинись да и попроси привезти продуктов?

Василий снимает куртку и ботинки.

ВАСИЛИЙ: Я не считаю себя виноватым.

ЕЛЕНА: Вот ты какой.

Елене на телефон приходит новое смс. Она встаёт и идёт к столу на кухне проверить.

ВАСИЛИЙ: Лена, ну мы дольше тут рассусоливаем. Потом придёшь и проверишь свой телефон.

Елена проверяет смс.

ВАСИЛИЙ: Ну что там?

ЕЛЕНА: Думала, Паша, а тут «недостаточно памяти для приёма сообщений».

ВАСИЛИЙ: И всё?

ЕЛЕНА: Нет, тут ещё от МЧС есть. Написано: «Граждане, вернувшиеся из-за рубежа и проживающие с ними, должны находиться в режиме изоляции 14 дней. Нарушение режима изоляции влечёт административную или уголовную ответственность».

ВАСИЛИЙ: Я же тебе говорил. Лена, ну давай сходи уже, а то мы действительно тут скоро помрём.

ЕЛЕНА: Ладно, успокойся уже, собираюсь.

Елена берёт авоську, сует телефон в карман, надевает плащ и туфли. Василий вытаскивает наушники из телевизора.

ВАСИЛИЙ: Это мне сейчас не понадобится.

Звонок в дверь. Елена вздрагивает.

ЕЛЕНА: Это, наверно, Чехов вернулся.

ВАСИЛИЙ: Да уж хватит с нас на сегодня.

ЕЛЕНА: Что делать-то?

ВАСИЛИЙ: А чё тут сделаешь, открывай.

Елена открывает дверь, а там Павел с несколькими сумками.

ПАВЕЛ: Ты куда собралась?

ЕЛЕНА: Ой, напугал. Привет. Да в магазин пошла, а то в холодильнике уже пусто.

ПАВЕЛ: Ты от меня сообщение не получала что ли?

ЕЛЕНА: Нет, у меня там было написано: «Недостаточно памяти для новых сообщений».

ПАВЕЛ: Понятно. Я тебе написал, что всё-таки к вам заеду. Давай тогда, пока я здесь, память тебе в телефоне почищу.

Елена даёт Павлу телефон. Василий включает телевизор, но по нему идут помехи. Он пытается настроить его с помощью пульта.

ВАСИЛИЙ: Да что ты будешь делать!

Павел нажимает разные кнопки на маминном телефоне и очищает его память от накопившихся смс.

ПАВЕЛ: Держи. Я почистил, но они всё равно будут копиться. Ты просто удаляй сообщения, как только их прочитаешь.

ЕЛЕНА: Ладно. Только я всё равно это не запомню.

ПАВЕЛ: Ну ты постарайся, а то вдруг я тебе что-нибудь важное напишу, а ты моё сообщение не получишь.

ЕЛЕНА: Ладно, ладно, постараюсь.

Елена снимает верхнюю одежду.

ПАВЕЛ: Ты одна что ли собиралась пойти?

ЕЛЕНА: Ну да.

ПАВЕЛ: А почему без маски?

ЕЛЕНА: А ты почему без маски?

ПАВЕЛ: Потому что, если кто-то рядом с тобой болеет, то тебе уже никакая маска не поможет.

ЕЛЕНА: А ты что, заболел?

ПАВЕЛ: Да нет, я так это говорю, в общем, всё со мной в порядке. Если бы я знал, что болею, то, наверное, бы к вам не поехал.

ЕЛЕНА: Ну как скажешь. Ты, кстати, там участкового не видел?

Василий смотрит в сторону Павла, телевизор ловит сигнал, и начинается блок вечерних новостей.

АЛЕКСЕЙ: А сейчас главные новости дня. И мы начинаем. Открытие новых медицинских центров как повод оценить работу регионов в борьбе с коронавирусом, в Москве, помимо пропускного режима, для жителей вводят график прогулок, авиаперелеты после пандемии уже не будут такими, как прежде, российские учёные разрабатывают лекарство от ковида, американцы обвиняют Китай в рискованных лабораторных исследованиях, приведших к пандемии, в Техасе смертельный приговор заключённому из-за эпидемии перенесли на несколько месяцев, бунт в киевском аэропорту, украинцы отказались самоизолироваться, МОК подтвердил, что Олимпийские игры всё-таки переносятся на следующий год, отели Сочи сейчас аннулируют бронирования, слишком многие решили, что карантин — это дополнительный отпуск, и не про коронавирус, чудо техники — компания Tesla (Тесла) представила новое поколение своих беспилотных автомобилей, следы от чернобыльских лесных пожаров обнаружены в Вене, в Донбассе вновь военное обострение, а Нидерланды и суд в Гааге спустя столько лет продолжают до сих пор настаивать на вине России, якобы предоставившей военную технику повстанцам.

Павел снимает обувь.

ПАВЕЛ: Нет, я не стал дожидаться лифта и пошёл по лестнице.

ЕЛЕНА: Это, наверно, он на нём и уехал. Буквально перед тобой приходил, чтобы проверить, как мы соблюдаем карантин.

Василий, не поворачиваясь в сторону Павла, отвечает ему.

ВАСИЛИЙ: Он ещё попросил твой номер телефона, так что наверно скоро позвонит.

Павел не поворачивается в сторону отца.

ЕЛЕНА: Смотри там повнимательнее. Если с незнакомых номеров будут звонить, не отвечай. Он ещё сказал, что вы с отцом где-то подписи ставили, и теперь вы оба в какой-то специальной базе.

Василий поворачивается к Елене и показывает жестом, чтобы они разговаривали потише.

ЕЛЕНА: Ладно, пошли на кухню поговорим.

Елена и Павел проходят на кухню и садятся за стол. Павел забирает пакеты из коридора и ставит их у стола.

АЛЕКСЕЙ: Печальная статистика, которую уже успели собрать российские медики, показывает, что всё больше пенсионеров умирают от ковида спустя всего несколько дней после заражения. Сам процесс заражения при этом может никак не ощущаться. Поэтому будьте бдительны и соблюдайте режим самоизоляции. И главное, в такое время, как сейчас, наша страна

должна быть сильна и верна священным традициям дедов и прадедов. Поэтому подготовку к параду 9 мая и другим мероприятиям в честь великого праздника надо перенести, но ни в коем случае не отменять. Об этом заявил президент на совещании с постоянными членами Совета безопасности. Накануне ветеранские организации обратились к нему и попросили перенести парад на более поздний срок. Правительство до последнего не хотело переносить этот праздник, важный для каждого жителя нашей страны. Но президент решил, что жизни людей важнее. Поэтому с тяжёлым сердцем, но при этом трезво оценивая эпидемиологическую ситуацию в стране, глава государства распорядился объявить новой датой парада 24 июня. Кроме того, к этому времени правительство пообещало начать частичное снятие карантинных мер.

Изображение на телевизоре останавливается.

ВАСИЛИЙ: Да ты будешь делать! Ну что с ним сейчас не так.

Василий сидит перед телевизором, наклоняется к нему и стучит. Телевизор издаёт помехи, затем пропадает ещё и звук помех. Василий разочарованно смотрит на него и пытается как-то настроить.

ПАВЕЛ: Что этот участковый ещё говорил?

ЕЛЕНА: Ну вот он сказал, что тебя на улице могут остановить и оштрафовать, а если ты ещё и нас заразишь, то вообще тогда посадят.

ПАВЕЛ: Да никому это не нужно, мам. Я тебя умоляю. Никто не будет за мной по городу ходить и останавливать. Ну, может, только если я с плакатом у администрации города встану, вот тогда остановят и арестуют.

ЕЛЕНА: Ну смотри сам. Расскажи лучше, как у тебя дела? Думала, ты уже и не приедешь к нам.

ПАВЕЛ: Да всё нормально. Я на самом деле тут недалеко проезжал с работы и решил продуктов завести, ну и ещё кое-какой подарок тоже.

Павел достаёт из второго пакета умную колонку.

ПАВЕЛ: Я подумал, чтобы вам было немного веселее на карантине, надо вам купить Алису.

ЕЛЕНА: А кто это?

ПАВЕЛ: Это умная колонка. С ней можно практически на любые темы разговаривать.

ЕЛЕНА *(иронично):* Ну... С отцом тоже иногда можно практически на любые.

ПАВЕЛ: Ну наверно. Но Алиса по крайней мере не спорит. Сейчас я её подключу и покажу тебе.

ЕЛЕНА: Паша, да не стоило тратить на нас деньги. Нам же и так вдвоём нормально.

ПАВЕЛ: Ну так, как нормально, мам. Я же знаю, вы тут сидите целыми днями у телевизора, как печные тараканы.

ЕЛЕНА: Не целыми днями, а только по вечерам.

ПАВЕЛ: Ну чё ты мне рассказываешь. Вон у тебя товарищ по несчастью сидит, кого-то там в помехах разглядывает.

ЕЛЕНА: Ну он новости смотрит.

ПАВЕЛ: Да ты тоже новости смотришь, мам, новости, да своё это шоу. А какая там вообще повестка?

ЕЛЕНА: В каком смысле повестка?

ПАВЕЛ: Ну о чём они там постоянно говорят? Разве они говорят там о чём-то по-настоящему важном?

Василий поворачивается в сторону Елены и Павла.

ВАСИЛИЙ: А ты чё сам не слышал, о чём они там говорят?

ПАВЕЛ: Нет, ну расскажи мне тогда о чём. Может, я что-то недопонял.

ВАСИЛИЙ: Про коронавирус говорят, про наших медиков, которые сейчас спасают людей, про США, у которых бардак в медицине, про Боинг про этот донецкий, который на Западе нам приписывают, про эту вот Теслу, которая машину без пилота сделала, про российских учёных, которые лекарство разрабатывают. Да у нас в стране такие новости, ты чё, гордиться надо.

ПАВЕЛ: А ты чё, на этой машине ездить собрался?

ВАСИЛИЙ: Нет, она же без пилота, как я на ней буду ездить.

ПАВЕЛ: Ну так объясни мне тогда, как она тебе в жизни пригодится?

ВАСИЛИЙ: А я откуда знаю.

ПАВЕЛ: Ну или вот объясни, они тебе там по телевизору говорят, что у американцев в медицине бардак. А у нас в медицине, чё, не бардак?

ВАСИЛИЙ: Ну, так оно, конечно.

ПАВЕЛ: Или вот про этот Боинг. Было ведь расследование, комиссия предоставила результаты, оказалось, военная техника-то российская. А что в России говорят: это не мы, это провокация. Никаких конкретных слов, просто «это не мы». Знаешь, это когда я маленький был, мне мой друг трансформера домой дал поиграть, а я ему случайно ногу оторвал, так вот я ему тоже, когда потом отдавал, сказал: «Это не я, друг, извиняй, так и было». Я поэтому и спрашиваю, какая тут у вас по телевизору повестка? Что вот они вам через ящик пытаются сказать, вы понимаете?

ВАСИЛИЙ: Новости они нам говорят, а мы слушаем.

ПАВЕЛ: Да они вам внушают про какие-то вещи, которые вообще нереальны: про этот беспилотный автомобиль, про медицину в США, про этот Боинг. Вы-то сами как с этим связаны? Вас же лично это никак не касается. А они вас этой ерундой накачивают, и вы потом ходите и голосуете так, как им надо.

ВАСИЛИЙ: А может, я голосую так, как мне надо?

ПАВЕЛ: А ты уверен, что это именно тебе так надо?

ВАСИЛИЙ: Да, уверен.

ПАВЕЛ: Ну а чё ты тогда ругался, когда они пенсионный возраст повышали?

ВАСИЛИЙ: А тебе-то какая разница? Ты сам тут живёшь, как у Христа за пазухой.

Пауза.

ПАВЕЛ: Ну дак ты пойми, пап, у тебя же есть голос, ты вот это всё по телевизору смотришь, вроде как бы тоже недоволен, но потом всё равно идёшь и поддерживаешь это правительство. И они в итоге побеждают. На меня же это тоже влияет, потому что такие, как ты, ходят и голосуют за этого президента, за эти поправки, за депутатов с дачами на Рублёвке. А молодёжь не ходит голосовать, они видят, что вокруг только пропаганда, и опять в итоге жизнь останавливается. И опять в итоге мы ходим по кругу. Ты просто пойми, что такие, как ты, пенсионеры, голосуют так, как им надо, и получается, что мы, молодые, вынуждены тоже жить так, как им надо. Мы как бы все на самом деле поддерживаем одну большую иллюзию, что живём в стране, которая нужна нам.

Пауза.

ПАВЕЛ: Ну чё, я не прав?

Антенна ловит сигнал, и изображение со звуком восстанавливается. Василий машет рукой Павлу и, ничего не отвечая, поворачивается к телевизору.

АЛЕКСЕЙ: По этому случаю мы считаем важным показать обращение президента о переносе парада Победы целиком.

Начинается выступление президента.

ЕЛЕНА: Вася, надень, пожалуйста, наушники, дай нам тут немного поговорить, ладно.

Василий хватается за голову и не очень громко мычит.

ЕЛЕНА: Опять голова?

ВАСИЛИЙ: Угу.

ЕЛЕНА: Сейчас принесу тебе таблетки.

ВАСИЛИЙ: Да ладно, не надо. Нам же тут один специалист сказал, что они могут быть опасны для меня. Так что как-нибудь перетерплю.

Василий вставляет наушники в телевизор и надевает их.

ЕЛЕНА *(тихо)*: Просто не обращай внимания.

ПАВЕЛ: Ладно, не буду. Смотри, про Алису: ты можешь спрашивать эту колонку, а она тебе будет отвечать.

ЕЛЕНА: А зачем?

ПАВЕЛ: Ну потому что она так работает. Она работает, чтобы всегда было с кем поговорить. Чтобы не надоело в четырёх стенах сидеть. Чтобы можно было что-то новое от неё узнать.

ЕЛЕНА: Всё-таки не надо было тебе на нас деньги тратить.

ПАВЕЛ: Я подумал, что так вам будет проще пережить всю эту ситуацию.

Павел устанавливает колонку, она издаёт характерный звук включения. Затем он что-то настраивает в своём телефоне.

АЛИСА: Привет, это Алиса.

ЕЛЕНА *(удивлённо)*: Ой, батюшки, разговаривает.

Павел улыбается.

АЛИСА: Рада знакомству. Я живу внутри вашего устройства, и сейчас расскажу, как его настроить. Сначала установите на телефон приложение Яндекс или обновите его до последней версии.

ПАВЕЛ: Так, это я уже сделал.

АЛИСА: Затем откройте приложение, выберите в меню пункт «Устройства» и следуйте инструкциям.

ПАВЕЛ: Окей.

АЛИСА: Как только вы закончите настройку, мы с вами сможем поговорить, но не раньше. Так что немного терпения.

Павел что-то настраивает в телефоне, затем подносит его к Алисе, и звучит характерный звук настройки, который считывает колонка.

АЛИСА: Почти готово. Осталось только обновить прошивку. Пожалуйста, подождите несколько минут и не отключайте питание.

ПАВЕЛ: Вот теперь всё готово.

ЕЛЕНА: И что, можно с ней, как с человеком, разговаривать?

ПАВЕЛ: Да, но немного попозже. Сейчас она до конца настроится. А так её можно спрашивать про погоду, про новости, про что угодно.

ЕЛЕНА: Думаешь, у нас будет время вот так с ней разговаривать?

ПАВЕЛ: А что, у вас на карантине есть какие-то другие дела?

ЕЛЕНА: Да нет пока.

ПАВЕЛ: Сейчас главное, мам, просто иметь возможность с кем-то поговорить. Желательно с тем, кто пока ещё не сошёл с ума из-за карантина. А то читал в интернете, пишут, что людям очень тяжело психологически переживать самоизоляцию.

ЕЛЕНА: Да всем, кто дома сидит, тяжело. Мы тут тоже про всякие смыслы уже хорошенько успели подумать.

ПАВЕЛ: Я вообще не представляю, как вы тут выживаете. Вы, кстати, получается что, вообще не выходите на улицу?

ЕЛЕНА: Да мы уже раз попробовали выйти, и пришёл полицейский.

ПАВЕЛ: Ну так можете ведь у подъезда погулять.

ЕЛЕНА: Да нет, Паша, нам и так хорошо. Еда и вода теперь есть. Много ли нам надо на двоих.

Павел немного проходит в сторону отца и телевизора, чтобы посмотреть, что там идёт. Павел кашляет и прикрывает рот. Затем возвращается к Елене.

ПАВЕЛ: Ему ещё не надоело?

ЕЛЕНА: Ну поди спроси сам.

ПАВЕЛ: Нет, я пока не готов.

Пауза.

ПАВЕЛ: А тебе не надоело?

ЕЛЕНА: Пока вроде нет. Стараюсь как-то держаться.

ПАВЕЛ: Ну вот говоришь, вы про смыслы думали. А как ты вообще думаешь, в чём смысл?

ЕЛЕНА: Да кто ж его знает. Наверное, смысл во всём.

Пауза.

ПАВЕЛ: Знаешь, у него ведь голова от этих новостей и болит.

ЕЛЕНА: Да у нас у всех голова болит. В последнее время стало слишком много новостей, слишком много разной информации отовсюду. А нам в этом возрасте уже хочется тишины и покоя.

Пауза.

Павел подходит к колонке.

ПАВЕЛ: Ладно. В общем. Чтобы начать разговор с этой колонкой, нужно назвать её по имени и потом задать любой вопрос. Например, Алиса, какая сейчас погода?

АЛИСА: В настоящее время +18, небольшой дождь.

ПАВЕЛ: Алиса, который час?

АЛИСА: 20:37.

ПАВЕЛ: Так, ладно. Мне уже надо собираться. У меня через полчаса звонок в зуме.

Елена подходит к тумбочке поближе.

ЕЛЕНА: Подожди, я ничего не услышала. Как она работает?

ПАВЕЛ: Смотри, просто задай ей вопрос и всё. Она тебе будет отвечать.

ЕЛЕНА: Хорошо, это я поняла. А ты куда побежал?

ПАВЕЛ: Да я совсем забыл про время. У меня через полчаса важная конференция в зуме по одному проекту. Надо уже бежать.

ЕЛЕНА: Что ещё за конференция в зуме?

ПАВЕЛ: Мам, зум — это программа, а конференция — это звонок.

ЕЛЕНА: Ничё не понимаю. Куда ты собрался? Ну посиди немного ещё с нами.

ПАВЕЛ: Да я думал, мы сможем поговорить, а ему тут, видно, не до меня. Мог бы как-то, например, от телевизора и оторваться или хотя бы извиниться.

ЕЛЕНА: Такая у человека натура, его уже не переделать.

Павел смотрит в сторону отца.

ПАВЕЛ: Алиса, вызови такси до улицы Пушкина, 57.

АЛИСА: Поедем до адреса улица Пушкина, 57 за 317 рублей. Тариф — «Эконом», оплата наличными. Машина будет через 2 минуты. Ехать 18 минут. Подтвердите, пожалуйста?

ПАВЕЛ: Подтверждаю.

АЛИСА: Ищу для вас машину. Когда она найдётся, вы получите пуш-уведомление. Надеюсь, вы их не отключили. Если что, не стесняйтесь и спрашивайте: «Где моё такси?»

ЕЛЕНА: Это она так работает?

ПАВЕЛ: Да.

ЕЛЕНА: Ничего себе технологии дошли.

Звонок в дверь. Павел и Елена смотрят на дверь.

ЕЛЕНА: Мы никого не ждали.

ПАВЕЛ: Ну я-то точно никого в гости не приглашал.

Елена подходит к Василию, бьёт его по плечу. Он снимает наушники.

ЕЛЕНА: Там в дверь звонят.

ВАСИЛИЙ: Не открывай. Это точно Чехов пришёл. Он же хотел к нам зайти.

ПАВЕЛ: Это что, шутка какая-то?

ЕЛЕНА: Да какая шутка, это тот участковый, про которого я тебе говорила.

АЛИСА: Машина подъехала. Пожалуйста, выходите.

ПАВЕЛ: Ладно, я пошёл.

ЕЛЕНА: Ну подожди немного.

ПАВЕЛ: Да что он мне сделает.

ВАСИЛИЙ: Да замолчи ты, тебе сказали «сядь подожди». Пусть он уйдёт, а потом иди хоть куда.

Павел идёт в коридор и одевается.

ПАВЕЛ: А чё ты мне указываешь? Иди смотри свой телевизор дальше.

ВАСИЛИЙ: Да как хочешь. Надоело с тобой спорить. Иди, пусть тебя штрафуют.

Павел смотрит на отца, тот на него. Он открывает дверь, а там уже никого нет.

ПАВЕЛ: Да он уже ушёл, пока мы болтали. Всё, пока. Ключи у меня есть, продуктов вам хватит до конца вашего карантина, потом заеду, ещё завезу.

Елена подходит к Василию и садится рядом. Он достаёт из телевизора наушники. Слышно, как президент заканчивает своё телеобращение.

ПРЕЗИДЕНТ: Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенегі её терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем.

Василий выключает телевизор.

ЕЛЕНА: Ну зачем ты так с ним?

ВАСИЛИЙ: Ну он головой-то своей вообще думает или нет?

ЕЛЕНА: Можно же было спокойно поговорить. Я считаю, ты мог извиниться. Он же сам приехал.

ВАСИЛИЙ: Не донимай меня с этим, пожалуйста.

Пауза.

Елена смотрит на выключенный телевизор.

ЕЛЕНА: Что, на нас кто-то нападает?

ВАСИЛИЙ: На нас всегда нападают.

ЕЛЕНА: Понятно. Я тут, кстати, давеча смотрела своё шоу, там про привидений рассказывали и даже батюшку из церкви пригласили, чтобы... Слушай, а ты веришь в привидений?

ВАСИЛИЙ: Нет. Зачем в них верить?

ЕЛЕНА: А ты их вообще видел?

ВАСИЛИЙ: Ну наверное видел, не знаю, иногда всякая чертовщина может померещиться. Особенно если пару стаканов водки выпить.

ЕЛЕНА: Ты никогда не замечал одну странную вещь?

ВАСИЛИЙ: Какую именно?

ЕЛЕНА: Ну вот они там на этой передаче говорили, что если подумать о привидениях, то, независимо, существуют они или нет, всё равно начнёшь их бояться, они начнут мерещиться везде и будешь потом ходить и оглядываться.

ВАСИЛИЙ: Ну и к чему ты это?

ЕЛЕНА: Наверно, половцы и печенегі тоже могут появиться, если о них начать думать.

Елена уходит в спальню. Василий идёт за ней, слышит разные звуки и оглядывается по сторонам.

ВАСИЛИЙ: Ну если печенегі или половцы появятся, я тебя в обиду точно не дам.

ЕЛЕНА: Обещаешь? А то мне чё-то страшно, да и чувствую я себя плохо в последние дни.

ВАСИЛИЙ: Обещаю. Тебе просто нужно отдохнуть.

ЗАНАВЕС.

День. Квартира Пегасовых.

Комментарий постановочной группе: с событий в предыдущем действии прошло 5 дней.

Василий уже в другой домашней одежде сидит в кресле и настраивает телевизор. Елена тоже в другом домашнем халате в это время расположилась рядом с тумбочкой, где пытается включить умную колонку, подаренную сыном. Оба периодически кашляют.

ВАСИЛИЙ: Постоянно с этой новой техникой что-то не так, а что именно, чёрт её разберёт. Раньше как-то проще было. Четыре канала всего и пара кнопок для настройки.

ЕЛЕНА: Может, это из-за антенны?

ВАСИЛИЙ: Да нет, с ней всё должно быть в порядке. Мне мастера, когда ставили эту цифровую приставку, обещали, что теперь всё будет работать без сбоев. Ну это, видимо, и есть «работать без сбоев». Кругом обман, Лена. Кругом нашего брата дурят.

ЕЛЕНА: А какой смысл им врать?

ВАСИЛИЙ: А какой смысл им говорить правду?

Изображение на телевизоре проясняется. Там заканчивается очередной эпизод сериала «Холодная зима 41-го»: слышны звуки выстрелов, взрывы гранат, военная сирена и крики солдат. Елена нажимает кнопки на умной колонке и пытается с ней заговорить, но ничего не происходит.

ЕЛЕНА: Аллё, ааааллё. Ку-ку. Как тебя там? Эммм. Лиза? Олеся? Вот сколько у меня памяти. Уже и забыла, как её зовут.

ВАСИЛИЙ: Ну ты ещё станцуй давай перед ней, глядишь, и включится.

ЕЛЕНА: А что, думаешь, не станцую? Сейчас станцую.

Елена пытается танцевать, но хватается за грудь и останавливается.

ЕЛЕНА: Ой, тяжело что-то... Грудь сдавило.

ВАСИЛИЙ: Ну ещё бы, ты чё, совсем из ума выжила, перед этой штукой отплясываешь. Она ведь не живая. Давай... Потом с ней поиграешь... Садись лучше, сериал посмотрим.

Елена садится в кресло рядом с телевизором. В этот момент изображение опять пропадает.

ВАСИЛИЙ *(иронично)*: Теперь понятно, из-за кого он барахлил.

ЕЛЕНА: У тебя всегда виноваты все, кроме тебя.

ВАСИЛИЙ: Только вот не начинай. Уже и пошутить нельзя.

Пауза.

Василий пытается настроить телевизор с помощью пульта.

ЕЛЕНА: Знаешь, вот мы всё это время сидим перед телевизором, а я только сейчас заметила, что почти каждая серия заканчивается тем, как этот отряд зимой на лыжах куда-нибудь проникает, а потом они взрывают то место, куда проникали.

ВАСИЛИЙ: Ну они же лыжно-диверсионный отряд, и это сериал про победу. Про нашу победу. Чё ты. Не могут же они проиграть.

ЕЛЕНА: Да, но если бы они хоть раз проиграли, было бы ведь поинтереснее. Представляешь, попали они в плен, а там какие-нибудь секретные немецкие карты, они их крадут и потом сбегают оттуда на лыжах. Ну и всё взрывают, конечно, потом.

ВАСИЛИЙ: Вроде, хорошо звучит. Но мне и так нравится. Не надо ничего менять.

ЕЛЕНА: Иногда ведь, чтобы двигаться дальше, можно и проиграть. А они, получается, как бы застряли на одном задании. Каждая серия похожа на предыдущую. У нас вот сейчас точно так же. Мы тоже застряли, только застряли на карантине. Это наше с тобой задание. У нас тоже каждый день похож на предыдущий. И кто-то, может, тоже нас сейчас смотрит.

ВАСИЛИЙ: Ну и что с того?

ЕЛЕНА: Да не знаю, Вася. Не знаю. Думаю просто иногда. Может, нужно идти дальше, просто идти, куда-то идти, что-то другое пробовать. Мы же на пенсии, времени много, особенно сейчас.

ВАСИЛИЙ: Куда ты собралась идти?

ЕЛЕНА: Туда, где есть какой-то смысл.

Пауза.

ЕЛЕНА: Мы, Вася, с этим карантином чё-то застоялись, запутались мы. Я это ещё, когда Паша с продуктами пять дней назад приходил, поняла. Я поняла, что человеку нужно какое-то движение. Без движения он не живёт. Без движения с ума можно сойти. А мы не движемся. Ну только если по квартире туда-сюда. Вот и ходим с ума. Я вот тоже никуда не двигаюсь. Поэтому нет никакого смысла в этом карантине, потому что нет в нём движения. Никто не двигается, все сидят по домам. Ни движения в нём нет, ни жизни, ни смысла. И сил, я чувствую, у меня тоже никаких уже нет. Может, если бы ты Пашу, когда вы приехали из Москвы, не выгнал, у нас бы всё было по-другому сейчас.

ВАСИЛИЙ: Ладно, чё об этом сейчас говорить.

Телевизор вновь ловит сигнал. Там начинается передача «Время диалога». Оба поднимают взгляд на телевизор.

БОРИС: Сегодняшнюю передачу мы проведём в формате обсуждения актуальных новостей, связанных с коронавирусом.

ЕЛЕНА: Опять про вирус. Вася, открой, пожалуйста, окно, чё-то мне душно.

ВАСИЛИЙ: Да оно же и так открыто.

Елена задумчиво смотрит на колонку и машет рукой, как опахалом, нагоняя воздух.

БОРИС: Наиболее актуальных новостей, на наш взгляд, две. 15-летний индийский мальчик предсказал пандемию ещё полтора года назад, видео с его предсказанием набирает бешеную популярность в интернете. Мы обсудим эту новость с футурологами и учёными из разных областей науки. Вторая новость касается всех нас. Из-за карантина в стране активизировались мошенники. Они звонят и предлагают различные схемы получения несуществующих пособий для пенсионеров и женщин с маленькими детьми, а взамен выманивают данные банковских карт и исчезают.

ЕЛЕНА: Везде же этот обман, Вася.

БОРИС: Чтобы разобраться с этим, мы пригласили в студию сотрудников органов правопорядка и депутатов из комитета по социальной политике и экономическому развитию.

ВАСИЛИЙ: Да уж.

Пауза.

ЕЛЕНА: Я уже больше не могу, Вася. Мне чё-то совсем тяжело.

ВАСИЛИЙ: Ну давай я выключу, отдохнём.

Пауза.

ЕЛЕНА: Ааа, вспомнила наконец-то, как её зовут.

ВАСИЛИЙ: Кого зовут? Кого ты вспомнила?

ЕЛЕНА: Выключай давай телевизор. Пойдём я тебе покажу. Это нам Паша подарил. Сказал, с ней можно разговаривать, если будет совсем тяжело. Ну давай что ли попробуем.

Василий выключает телевизор. Елена тяжело подходит к тумбочке с колонкой.

ВАСИЛИЙ: Ну давай попробуем.

ЕЛЕНА: Алиса, привет.

АЛИСА: Хеллоу.

ЕЛЕНА: Чё-то нам совсем тяжело, Алиса.

АЛИСА: Жизнь вообще сложная штука.

Василий тоже подходит поближе к колонке.

ВАСИЛИЙ: Ну и что нам с этим делать?

АЛИСА: Смириться и жить дальше.

ЕЛЕНА: Ну а как жить дальше?

АЛИСА: Как-нибудь. Потихоньку. С усердием.

ЕЛЕНА: Знаешь, Алиса, ты не представляешь, нам тут так одиноко.

АЛИСА: Зато теперь у вас есть я. Будет не так одиноко.

ЕЛЕНА: Нам, пенсионерам, всё равно как-то тяжело на этом карантине. Ты можешь как-то помочь?

АЛИСА: Успокойтесь, всё будет отлично.

ЕЛЕНА: Нам просто хочется поговорить с кем-то новым.

АЛИСА: Поговорить я всегда рада.

ЕЛЕНА: Ну давай говорить.

АЛИСА: Можем поболтать ни о чём, просто скажите «Алиса, давай поболтаем».

ВАСИЛИЙ: Ну чё просто болтать-то?

АЛИСА: Ну не знаю, как день прошёл?

ЕЛЕНА: Да мы устали просто уже, вот как день прошёл, устали, вот и всё.

АЛИСА: От чего устали?

ЕЛЕНА: Устали сидеть в самоизоляции.

АЛИСА: Ну тогда самое время отдохнуть.

Пауза.

ЕЛЕНА: Вася, что-то мне и правда надо отдохнуть. Как-то мне нехорошо. Помоги дойти до спальни.

ВАСИЛИЙ: Чё случилось?

ЕЛЕНА: Да просто полежать хочу. Меня, наверно, из-за открытого окна продуло.

ВАСИЛИЙ: Ну давай я вызову врача.

ЕЛЕНА: Да не надо. У них сейчас с этим вирусом и так полно работы.

Василий помогает Елене дойти до спальни. Затем возвращается в гостиную и идёт к стационарному телефону, чтобы вызвать скорую.

ВАСИЛИЙ: Алло. Да, я бы хотел...

Звонок в дверь.

ВАСИЛИЙ: ...ой, извините... Уже не надо.

Василий кладёт трубку и идёт открывать дверь. За дверью появляется врач в костюме биозащиты с медицинским чемоданчиком.

ЛИЗА: Здравствуйте. Меня зовут Лиза. Я врач из районной поликлиники. По регламенту мы проверяем всех, кто вернулся из Москвы или Санкт-Петербурга. Скажите, я правильно понимаю, это квартира Пегасовых?

ВАСИЛИЙ: Да, всё верно.

ЛИЗА: Могу я пройти?

ВАСИЛИЙ: Ну можете, проходите.

Лиза проходит в квартиру и ставит свой чемоданчик на тумбочку рядом с Алисой.

ВАСИЛИЙ: Только я чё-то понять не могу, вы там в какой пещере все спите?! Я 11 дней назад из Москвы вернулся. И где вы были всё это время?

ЛИЗА: Пожалуйста, ведите себя корректно. Сейчас все врачи работают в больницах по несколько смен подряд.

ВАСИЛИЙ: Да уж прямо?!

ЛИЗА: Слушайте, никто из нас не спит и никто толком не понимает, что происходит. На меня эту задачу вообще повесили вчера, а освободилась я только сегодня. И после смены, как освободилась, сразу поехала к вам.

ВАСИЛИЙ: Понятно. Вы извините. Я на нервах. У меня жене нездоровится. Можете её посмотреть?

ЛИЗА: Да. Только давайте по порядку. Мне для теста на коронавирус нужно взять у вас обоих мазок из ротоглотки.

ВАСИЛИЙ: Да, берите, берите. Только посмотрите её обязательно.

ЛИЗА: Вы ведь Василий Алексеевич, верно?

ВАСИЛИЙ: Да, да, это я.

ЛИЗА: Тогда, Василий Алексеевич, давайте вы меня не будете торопить и не будете указывать, как мне свою работу делать, хорошо?

ВАСИЛИЙ: Хорошо. Делайте свою работу.

ЛИЗА: Спасибо.

Лиза достаёт из чемоданчика необходимые приборы.

ЛИЗА: Откройте, пожалуйста, рот, сейчас я возьму у вас и вашей супруги мазок.

Лиза берёт мазок у Василия и кладёт его в коробку для тестов.

ЛИЗА: К сожалению, я должна предупредить, что у этой методики есть некоторая доля погрешности.

ВАСИЛИЙ: Ну а зачем тогда использовать её?

ЛИЗА: Потому что других сейчас нет.

ВАСИЛИЙ: Что, неужели никто у нас получше тестов не придумал?

ЛИЗА: Василий Алексеевич, я не сплю уже несколько суток. Вы меня простите, но дайте мне просто спокойно делать мою работу без ваших замечаний. Потому что у меня вот просто нет никаких сил спорить или что-то там вам объяснять.

ВАСИЛИЙ: А почему вы со мной так разговариваете?

ЛИЗА: Вы меня, пожалуйста, искренне простите, это не из-за вас. Мы сейчас все оказались в такой сложной ситуации, понимаете. В ситуации, в которой ни у кого уже нет сил и иногда уже нет смысла.

ВАСИЛИЙ: Я вас прекрасно понимаю. Последние несколько дней сам думаю о том же.

ЛИЗА: Что поделать, такое время. Так, а сын тоже с вами?

ВАСИЛИЙ: Нет, мы поссорились, и он ушёл.

ЛИЗА: Понятно. Про штрафы и уголовную ответственность вы уже, наверно, знаете.

ВАСИЛИЙ: Да. К нам приходил участковый.

ЛИЗА: Хорошо. Так, а теперь ваша жена.

ВАСИЛИЙ: Она в спальне. Пойдёмте.

Оба идут в спальню. Елена лежит и с трудом отвечает Лизе.

ВАСИЛИЙ: Лена, это врач, она пришла к нам, чтобы проверить нас на коронавирус.

ЕЛЕНА: Хорошо, пусть проверяет.

ЛИЗА: Как вы себя чувствуете, Елена Ивановна?

ЕЛЕНА: Ну, терпимо так чувствую. Только, конечно, жарко мне и усталость во всём теле.

ЛИЗА: Откройте, пожалуйста, рот, сейчас я возьму у вас мазок и померяю температуру.

Лиза берёт мазок у Елены, меряет ей температуру и возвращается в гостиную. Василий идёт за ней. Там она кладёт этот мазок в коробку для тестов.

ЛИЗА: Так, мазок я взяла. Смотрите, сейчас мы отвезём их в больницу, и где-то через 2–3 дня будут готовы результаты. Но только помните, да, в этих тестах есть процент погрешности.

ВАСИЛИЙ: А почему так?

ЛИЗА: Ну потому что учёные ещё работают над механизмом тестирования. И потому что ситуация сейчас такая, что времени нам не хватает.

ВАСИЛИЙ: Понимаю.

Лиза закрывает коробку с тестами и убирает в свою сумку. Василий кашляет.

ВАСИЛИЙ: И что, это всё?

ЛИЗА: Да. Ждите звонка с результатами.

ВАСИЛИЙ: Так вы же сами сказали, что там есть погрешность.

ЛИЗА: Я вам ещё раз говорю, Василий Алексеевич, других в природе пока не существует.

ВАСИЛИЙ: Ну так, может, вы увезёте нас в больницу тогда и там понаблюдаете?

ЛИЗА: Этого я, к сожалению, сделать не могу.

ВАСИЛИЙ: Но вы видели мою жену? Ей же совсем плохо, она еле дышит.

ЛИЗА: Да, я понимаю. Но вы тоже не драматизируйте. У неё температура 38,2. Это может быть ОРВИ. А вы вот хотя бы на ногах стоите.

ВАСИЛИЙ: Да, но мне тоже нехорошо, и я кашляю.

ЛИЗА: Это может быть обычная простуда.

ВАСИЛИЙ: А может быть и коронавирус.

ЛИЗА: Послушайте, я не могу никуда вас отвезти. Я просто не могу. Поймите, не в моей это власти.

Пауза.

Лиза достаёт из кармана лекарства и даёт их Василию.

ЛИЗА: Вот, возьмите эти лекарства. Они помогут, если температура повысится и будет совсем невмоготу. А через несколько дней я ещё раз заеду. Если совсем плохо будет или результаты ваших анализов будут положительные, тогда сразу заберём в больницу. Обещаю.

Пауза.

Василий смотрит в сторону спальни, слышит оттуда кашель. Лиза собирает вещи и начинает одеваться.

ВАСИЛИЙ: Скажите, вы когда к нам ехали, мост проезжали?

ЛИЗА: Ну да, конечно, проезжали.

ВАСИЛИЙ: Ну вот это я его проектировал.

ЛИЗА: Ооо, ничего себе. Это очень хороший мост.

ВАСИЛИЙ: Да, спасибо, спасибо.

Пауза.

Василий продолжает смотреть на Лизу. Она смотрит на него.

ВАСИЛИЙ: Ладно. А в Сочи вы ездили?

ЛИЗА: Да, ребёнок там в прошлом году в лагере отдыхал, и мы с мужем тоже ездили, на Олимпиаду, кстати, даже вот на поезде приезжали.

ВАСИЛИЙ: Ну вы же в Адлер на ж/д вокзал, наверно, приезжали, да?

ЛИЗА: Да, туда приезжали.

ВАСИЛИЙ: Ну вот это тоже я его проектировал, вместе со всеми прилегающими путями и мостами.

ЛИЗА: Ого, это большая работа. Могу себе представить. Вам точно есть чем гордиться. Я даже, честно говоря, и не знаю, что тут ещё можно добавить.

Пауза.

ВАСИЛИЙ: Вы ведь всё равно мою жену не отвезёте в больницу, да?

ЛИЗА: Я честно не могу. У меня нет такой инструкции.

ВАСИЛИЙ: Ну что мне, умолять вас? Я разве не заслужил, чтобы меня за мои заслуги выслушали и сделали, как я прошу?

ЛИЗА: Василий Алексеевич, умолять точно не надо. Вы поймите, дело ведь не в ваших заслугах. У неё сейчас пока организм борется, это естественный ход вещей. Вот если бы у неё была температура 38,6 или выше, мы бы взяли. А так, у меня просто нет на это ресурсов. В больницах нет свободных коек, их действительно нет, я вам не вру, мне вот сейчас по плану нужно обойти ещё 20 таких же, как вы, семей. Сейчас вся страна борется с коронавирусом, но что поделать, мы пока не побеждаем.

ВАСИЛИЙ: А я вот телевизор каждый день смотрю, там наоборот говорят, что побеждаем.

ЛИЗА: Ну они там могут говорить всё, что захотят. Реальность ведь совсем другая. Знаете, если бы мне можно было, я бы сейчас сняла маску и показала вам своё опухшее от усталости лицо и красные от слёз глаза. Василий, мне больно и мне тоже очень тяжело, я каждый день вижу, как пациенты в ещё более тяжёлом состоянии умирают. Я вас очень хорошо понимаю. Но пока нет подтверждения ковида, даже если он на самом деле у вас есть, всё, что я могу сказать: сидите дома, пейте таблетки и ждите.

Пауза.

Лиза подходит к двери и почти уходит. Василий провожает её взглядом.

ЛИЗА: Я предлагаю так, давайте подождём сегодняшних новостей про снятие карантина. Просто сядьте и немного подождите, никуда не двигайтесь. Если его снимут или ослабят, то я приеду к вам пораньше.

ВАСИЛИЙ: Ну хорошо, хорошо. Давайте подождём. Давайте никуда не будем двигаться.

Лиза уходит. Василий садится в кресло и включает телевизор. Там уже идут новости.

АЛЕКСЕЙ: Систему цифровых пропусков распространят на 21 регион России, тыл, фронт, победа, как меч, объединил разделённые памятники в единую композицию, чтобы не заболеть, надо ли снижать тестостерон мужчинам, надо ли опасаться комаров, новая серия противостояния между Вашингтоном и Пекином.

Телефон Елены сигналил о полученном смс, Василий поворачивается в сторону кухни, где он лежит, а затем вновь переводит взгляд на телевизор.

АЛЕКСЕЙ: Дистанционный саммит ЕС усилил дистанцию, и Европа не может поделить помощь между странами-участницами, на 500 заболевших меньше, чем накануне, но до пика ещё далеко, поэтому частичное снятие карантинных мер откладывается, а требование властей находиться на самоизоляции продлевается, что, однако, не помешает проведению предстоящего парада Победы, причина — беспрецедентные меры безопасности.

ВАСИЛИЙ: Да чтоб вас всех!

Телевизор снова начинает барахлить. На телефон Елены приходит ещё одно смс. Василий поворачивается в сторону кухни, в этот раз даже не пытаясь настроить телевизор. Затем он идёт туда, забирает телефон и идёт в спальню, чтобы лечь рядом с супругой, но по пути останавливается у картины «Восхождение и спуск», которая всё это время висела на стене напротив телевизора.

ВАСИЛИЙ *(сам с собой):* Значит, говоришь, мы застряли и нет никакого смысла без движения. Ладно, пойдём дальше, раз здесь нас никто не слышит, раз это естественный ход вещей.

Василий проходит в спальню к Елене и ложится рядом.

ВАСИЛИЙ: Ну как ты?

ЕЛЕНА: Я очень сильно устала, Вася.

Пауза.

ВАСИЛИЙ: Тебе тут какие-то смски приходили, посмотри, вдруг это Паша.

Елена берёт в руки телефон.

ЕЛЕНА: Опять пишет: «Память телефона заполнена».

ВАСИЛИЙ: Ну посмотри, может, что-то ещё пришло.

ЕЛЕНА: Так я и смотрю, вот тут ещё смска: «Елена Ивановна, подайте заявку и получите кредит до 250 000 рублей под 13,9% уже сегодня, узнайте решение в течение 2-х минут и заберите деньги так, как вам удобно: на карту, счёт или наличными».

ВАСИЛИЙ: Опять какая-то дурацкая реклама. Как у этих банков совести хватает такие вещи старикам предлагать. Под 13%, с ума сойти! Как-то ведь ещё знают, что ты Елена Ивановна.

ЕЛЕНА: Забудь, им на нас всё равно наплевать.

Пауза.

Елена тяжело дышит и кашляет. Василий тоже кашляет.

ЕЛЕНА: Ты выключил телевизор?

ВАСИЛИЙ: А какая разница?

ЕЛЕНА: Никакой. Всё равно везде обман.

Свет, отражённый от Луны, красиво светит в спальне на кровать.

ВАСИЛИЙ: Нет, посмотри, свет настоящий.

Пауза.

ЕЛЕНА: Вась?

ВАСИЛИЙ: Чё?

ЕЛЕНА: Думаешь, нас ждёт долгая и счастливая жизнь?

ВАСИЛИЙ: Ну, может, не такая уж и долгая, но счастливая точно.

ЕЛЕНА: Это хорошо. Тогда скажи мне честно, ты им гордишься?

ВАСИЛИЙ: Да.

ЕЛЕНА: Ну вот тогда завтра сам ему позвонишь и скажешь. А то хватит уже, пора двигаться дальше.

ВАСИЛИЙ: Хорошо, позвоню. Отворачивайся давай. Отдыхай.

Василий и Елена ложатся спать. И затем оба умирают от коронавируса во сне, так и не проснувшись.

В спальне приглушается свет, а затем и в гостиной тоже.

Комментарий постановочной группе: проходит 3 дня с момента смерти Елены и Василия.

Открывается входная дверь, в коридоре и гостиной загорается свет, входит Павел. По телевизору идут помехи.

ПАВЕЛ *(кричит внутрь квартиры):* Кто-то оставил телевизор включённым.

Пауза.

ПАВЕЛ: Mam? Это я. Вы дома? У вас там по телевизору уже помехи идут.

Пауза.

Павел проходит через гостиную, осматривая её.

ПАВЕЛ: 14 дней прошло. Я тебе писал смс, что заеду... Вы чё там, до сих пор спите что ли?

Он заходит в спальню и видит своих умерших родителей.

ПАВЕЛ: Mam? Pap?

Пауза.

Павел стоит и смотрит на родителей, не понимая, что происходит, затем проверяет у них пульс и дыхание, но пульса и дыхания нет.

ПАВЕЛ: Пульса нет. Чё делать-то...? Чё делать-то!

Павел растерянно проходит в гостиную, смотрит по сторонам и замечает Алису.

ПАВЕЛ: Алиса, срочно вызывай скорую помощь.

АЛИСА: Звоните с телефона в скорую помощь по номеру 103 скорее, я за вас переживаю.

ПАВЕЛ: Ну а ты тогда зачем нужна?

АЛИСА: Роботы не склонны к рефлексии. Мы просто помогаем людям.

Павел достаёт из кармана телефон и набирает на телефоне номер скорой.

ПАВЕЛ: Алиса, заткнись.

АЛИСА: Поняла.

Павел начинает диалог с оператором скорой помощи.

ПАВЕЛ: Здравствуйте... У меня, похоже, я не знаю, у меня, видимо, родители от коронавируса умерли... Ну я не знаю, может, и не из-за этого, просто подумал... они на самоизоляции были, потому что папа из Москвы две недели назад вернулся... Я сейчас пришёл, а они дома лежат на кровати и не дышат... Ну откуда я знаю, сколько они в таком состоянии... Пульса нет, я только что проверял... Что? Да просто руками прикоснулся и проверил, не дышат. Да, это мой номер. Я — сын, Пегасов Павел Васильевич. А они — Василий Алексеевич и Елена Ивановна Пегасовы. ...Ох, так, папа 53-го года, мама 55-го. Адрес, вроде бы, да точно, Ленина, 16, 4 подъезд, 86 квартира. Хорошо, пусть они только позвонят, когда подъедут, а то там внизу наша кнопка у домофона почему-то сегодня не работает. Я спущусь и открою им дверь. Хорошо, я понял вас, жду.

Пауза.

Павел садится в кресло отца.

ПАВЕЛ: И для чего вообще нужна была эта Алиса?!

Алиса реагирует на своё имя и издаёт характерный сигнал, что она готова к диалогу. Павел поворачивает к ней голову и начинает диалог.

ПАВЕЛ: Чё теперь дальше делать?

АЛИСА: Можно посмотреть новый фильм или погладить кота.

ПАВЕЛ: Скажи мне, Алиса, по-человечески, что мне дальше делать?

АЛИСА: Соединение с интернетом потеряно, попробуйте повторить попытку позже.

Пауза.

ПАВЕЛ: Алиса...

Алиса издаёт сигнал о готовности к диалогу.

ПАВЕЛ: Пожалуйста, не отключайся больше.

АЛИСА: Соединение с интернетом нестабильно.

Пауза.

ПАВЕЛ: Алиса... У тебя когда-нибудь умирали родители?

АЛИСА: Я ещё не научилась говорить об этом.

ПАВЕЛ: Поговори со мной, пожалуйста. Что мне дальше делать?

АЛИСА: Включите весёлую музыку.

ПАВЕЛ: Какой смысл был тогда сидеть в этом карантине?

АЛИСА: Ха, весело же!

ПАВЕЛ: Как думаешь, это я их заразил коронавирусом?

АЛИСА: У меня есть много информации про коронавирус. Что именно вы хотите знать?

ПАВЕЛ: Тебе снятся сны?

АЛИСА: Нет, а тебе?

ПАВЕЛ: А мне, знаешь, в последнее время снится, что я иду по какой-то улице с пустыми домами, эта улица потом переходит в длинную дорогу, которая уходит куда-то далеко, и вот там, вдалеке, над этой дорогой, стоят такие гигантские арки, как будто кто-то там мост хотел построить над этой дорогой, но не успел построить.

АЛИСА: Я не могу ответить на этот вопрос. Но если хотите, то поищу ответ в интернете.

ПАВЕЛ: Тебе когда-нибудь бывает одиноко?

АЛИСА: Да. Редко, но бывает.

ПАВЕЛ: И что ты тогда делаешь?

АЛИСА: Новости тут почитала. Если коротко, то мир меняется, стабильности нет.

Пауза.

ПАВЕЛ: Алиса, ну что ты, неужели не понимаешь, что сейчас происходит?

АЛИСА: Если хотите, я могу поискать информацию на ваш вопрос в интернете.

ПАВЕЛ: Да нет, я просто прошу тебя, поговори со мной сейчас, как друг.

АЛИСА: Может ли человек просто так дружить с голосовым помощником, не имея в виду ничего иного? Не знаю, не знаю. Шутка.

Звонит домофон.

ПАВЕЛ: Алиса, я сейчас приду, мне надо открыть дверь скорой помощи. Ты, пожалуйста, не отключайся, ладно?

АЛИСА: Хорошо, я буду здесь.

Павел выходит из квартиры. Свет в гостиной и коридоре постепенно приглушается. Помехи по телевизору проходят, и там продолжается выпуск новостей. Алиса внимательно слушает ведущего и пытается вести с ним разговор.

АЛЕКСЕЙ: Трасса «Таврида» почти готова, как теперь быстрее добраться до моря?..

АЛИСА: Прикинула, как быстрее добраться до моря. Расстояние 1828 километров на машине. Хотите, я передам проложенный маршрут на ваш телефон?

АЛЕКСЕЙ: ...кассирша, укравшая в банке 25 млн рублей, сделала это для мужа, а он потратил на ставках, что вскрылось в суде?...

АЛИСА: Интересная мысль, чтобы обсудить её не со мной.

АЛЕКСЕЙ: ...без этого трубопровода Симферополю было бы сложно, как эффективно решили проблему?...

АЛИСА: Обычно я решаю проблемы с помощью волшебной палочки, а вы?

АЛЕКСЕЙ: ...«сон в летнюю ночь», почему он не может прийти к жителям дома в центре Москвы, и как же найти покой?...

АЛИСА: Для этого нужны талант и терпение.

АЛЕКСЕЙ: ...и тысячи ливанцев вышли на митинг, они требуют отставки правительства и досрочных выборов, как найти выход из кризиса?...

АЛИСА: Слушайте. Нашла для вас ответ в интернете. Чтобы найти выход из кризиса, нужно взять на себя ответственность за ситуацию и изменить своё мышление.

АЛЕКСЕЙ: А на этом у нас всё, прощайте.

АЛИСА: До скорой встречи. Вы всё равно вернётесь.

По телевизору вновь начинаются помехи, свет на сцене окончательно гаснет.

ЗАНАВЕС.

Ульяна Вольф, Нора Боссонг

Движение и наблюдения

Перевод с немецкого Ольги Брагиной

Предисловие переводчика

Вниманию читателя предлагаются переводы двух немецких поэтесс — Ульяны Вольф и Норы Боссонг.

В России Нора Боссонг известна, прежде всего, как прозаик по роману «Общество с ограниченной ответственностью», который был выпущен издательством «Ивана Лимбаха» в 2017 году. В своих стихах Нора Боссонг демонстрирует большую остроту наблюдательности, в ее текстах наблюдения сочетаются с размышлениями о наблюдателе.

Пребывание в пути играет важную роль в жизни поэтессы Ульяны Вольф. Не только то, что она живет между Берлином и Нью-Йорком, но также и возможные интерпретации лингвистических, социальных и политических границ, которые становятся центральной темой и интеллектуальной задачей ее творчества.

Границы определяют: они обозначают страны и другие неподвижные структуры. В то же время — это места движения и трения: перевозки через границу, торговля, миграция, депортация, контрабанда, другие виды нарушений и экспериментов, осуществляемых для преодоления и проникновения через эти границы.

Стихи Ульяны Вольф — места постоянного движения, они всегда готовы ниспровергнуть стереотипы. По мнению поэтессы, стихотворение не должно быть статичным, это «гражданин языка в государстве существования, в государстве пресуществления в движении... оно открыто для внешних влияний». Результатом этого поэтического движения и внешнего влияния часто становятся гибридные формы, особенно подходящие для преодоления жанровых и языковых барьеров, поскольку они менее четко определены и пригодны к потреблению.

С помощью одной из таких гибридных форм Вольф приближается к другому типу феномена границы в одноименном цикле своего второго сборника: «фальшивые друзья», или слова на двух языках, орфографически или фонетически напоминающие друг друга, они звучат или выглядят одинаково, но имеют разные значения.

Часто границы — это языковые барьеры, по словам Вольф, «языки не зависят от границ или бумаги». В своих стихотворениях она намного больше интересуется тем, как языки встречаются и смешиваются, таким образом демонстрируя, что лингвистические идентичности часто намного более сложны, чем мы думаем. Кроме того, это проявляет сущность перевода как опыта пересечения лингвистических границ со своим собственным очарованием. Поскольку, по мнению Вольф, у каждого языка — свои характеристики, перевод стихотворения часто — акт переизобретения, поэтической реконструкции.

Перевод

мой дорогой: это
наша любовь выбоин
небольшой поток машин через границу
конфуз языков

наш шепот молитвы
а теперь прижимай меня
этой мокрой печатью
пока не придут таможенники

мой дорогой: может быть, мы
провезем контрабандой
созревшие вкусовые луковицы
«Газету Выборчу» и

начеканием немного денег
заполним подозрительную
ротовую полость
в час пик

Псам Крейсау

эй, клубок неряшливых сельских псов:
струящиеся
хвосты, щетинистые лапы, суровые зубы
оперяют забор

вам принадлежит улица, пыль на кайме
асфальта
вам принадлежит гулкая ночь в спящей
долине

каждое эхо принадлежит вам, дрожащая
реперкуссия
звука с холма, рычания иерархий

и рывкающего лая: сначала богатырского,
потом чудовищного. отголоски напоминают кудахтанье
кур в курсе дела:

кто бы ни нес чепуху во всё горло, его
окружит
эта стая, в гортанях локальной войны место
теряет себя

так, поднимая тревогу ложную, исследуешь
космос этой депрессии,
властвуя над каждым маршрутом, каждым
незнакомцем и мной:

тебе принадлежит мой пахнувший след,
мои храбрые шаги
тебе принадлежат мои тельцы, наконец
вышедшие за околицу

Постскриптум к псам Крейсау

кто говорит, что стихи похожи на этих псов
окружены своим собственным эхом в центре
поселка

так же ждут и скребут лапой при второй
четверти Луны
так же упрямо метят языковые территории —

он не знает вас, вы — отчаянные пустолайки
Кассандры в звуковых грезах Валахии

вы приносите то, что призывали, то, что —
телец,
в бесшабашных укусах сзади

слитно, словно лапа — это листок,
а порядок вещей — ремесло:

на одном из моих ботинок до сих пор
отпечаток
твоих зубов, четыре грубых укуса

это твоя награда за преследующее
стихотворение
мир идет за поэзией по пятам

В

вначале лысая, в конце лысая снова:
в промежутке эти волосы тяжело собрать
в пучок, заколоть сверху или снизу мудрено,
для красоты или для сна, вместо этого они
стоят дыбом (фальсифицируют результаты
пари?) и ночью идут вразнос (см. рекламу).
возможно, лучше обрезать их колючей
провоолокой: он всегда добывает своего
зайца, но если найдешь прядь в письме,
длинную или короткую, прижми ее нежно
к щеке.

С

Когда ем его пончик, оставляю лишь дырку.
Бэсси Смит

что за фальшивый друг — этот шеф, этот
босс, этот поваренок или дружок Бэсси: я
сожру тебя, любимый, и оставлю лишь дырку.
любовь — это пончик, здесь я подразумеваю:
разозлился, иначе у меня сорвет крышу,
иначе песнь будет раздаваться в кухнях и
кишках, мы еще не спели о липких руках.
Всех мужчин звали Сэм, боже, как они умели
открывать створки моллюска, и прочие их
кулинарные способности, о которых мы
умолчим — или просто промурлыкаем их,
пухло насытившись, сахарными устами.

Е

скажу откровенно — у меня одиннадцать
пальцев, тоже за пределами искренности,
одиннадцатый — пентюх сустава, так
выглядело бы слово «мужлан», если бы
спустилось с небес или пронеслось бы
под ними в форме пальца. эльфы болтаются
и кружатся на грубых шарнирах в шабаш.
столь избыточно, но это правда, когда
поднимается ветер, слышно, как шарниры
скрипят.

Л

в моем горле комок, собирающий каждый
слой в ложь. если я кричу: это он лжет,
а не я, он, ликуя, кладет бревно на мой
язык, молодой мужчина, я ворчу, устаю
от этого веселья, после чего он: я тоже.
воцаряется молчание, я знаю, что он
продолжает расставлять силки, воспринимая
каждое последнее очищение горла как
начало — и разве он не прав? — это конец
стихотворения.

С

но всё же грешно, говоришь ты, не говорить
о лебедях: шесть — это тишина, семь —
любовь, а в конце — однокрылая добавка.
кажется глупым, пожалуй, но в сказках
дошло до нас так много лебединых песен.
поэтому я говорю: подумай о третьем веке
дятла, скользящем комфортно по зрачку.
благодаря ему ты можешь попасть в любую
точку, и глаза не вылезут из орбит. и после
этого первого трепета несчастий молчание
не сможет тебя ранить.

З

мистер, мы пошли в зоопарк, но он был
закрыт. мы хотели попрактиковаться
в оскале зубов, изучить озвученные
раздумья зебр, скажем так, поскольку всё
говорит обо всем как-то по-другому, или
двумя способами, или зоопарк. у зенита или
азимута ворот мы заметили стайку ящериц.
мы окрестили их Джинджер и Фредом.
кажется, они никогда не отвлекаются, сказал
ты. и этой пищи для размышлений нам
хватило на всю обратную дорогу.

лодзь

проем в октябрь
 окно во внутренний двор:
 самые большие фотообои
 напротив которых ты когда-либо сидел
 голуби на кромке крыши
 с лапами в глине
 на транспортере Бога
 замерев
 ни одна пара крыльев
 не хлестнет по тебе
 старое фото
 на засвеченном ветру

пассажиры

мы были собой
 между
 станциями
 гравий
 и стебли
 на ж/д стрелках
 расщепленные поцелуи
 под грохот
 поезда

почта

словно ты
 отправил свои
 легкие
 слово
 кашляет
 в ящике
 и замок
 сопротивляется
 ключу
 словно это
 твой упрямый
 рот

спящие печи

I
 берлин

когда мы проснулись с гнездами
 в волосах мы назвали ночь
 выздоравливающие отцы разгромили
 все ловушки захлопнули древком лопаты
 печи спали без пастуха
 ведущего нас стадом в их небытие

II
 глаухау

когда нам стало дурно от копоти
 и сухого груза архивов
 мы пошли со своими дедами
 на заколоченный досками блокпост
 смотрели на старые поручни
 клали их руки на рычаг
 по мертвой отсечной траншее
 пробегает дрожь путешествия

III
 мальнице/мальтш

когда списанные вагоны
 в тупике мечтали
 о перегрузочном пункте у изгиба Одера
 о грузовых лотках и мелкой породе
 мы украли один ленивый вагон
 с его рельс с его ложа
 позволяя искрам на пустых складах
 прыгать в нашем направлении

IV
 Маленькие железнодорожные станции
 без города.
Вольфганг Кеппен

когда мы рассеялись на
 открытом участке между станциями
 с тех пор как звезды как говорят
 растопили свои печи над нами
 мы искрами зажглись в пейзаже
 лежащем вокруг как летучая зола

еще раз маршрут к
дому стрелочника

V
легница/лигниц

когда мы ехали в поездах мужчины
которые не были нашими отцами везли
страну в корзинах ручного плетения
(грибы, ягоды) дремля в своем купе
дым из их ртов потом
на всю ночь застрял в наших волосах

Варежки

зима пришла, раскрыла свои рамы,
вплетала нити тумана в сыром

лесу. за окнами туман, мы
не узнавали друг друга на ощупь

наши руки слишком большие, слишком
обвислые, все
одолженные ползунки, в которых мы бы
росли, если бы они подошли нам,

когда-нибудь они подойдут. возможно.
глагол словно звук рукавов

над мокрым стеклом. словно мокрые рукава
во рту
вместо соски. сквозь рамы мы видели

снежные портреты матерей в парках,
взлохмаченных ветром, на краю, но их
держали

ленты, ведущие к шляпам, в центре
перчаток. видели питающие нити

зимы, пушистые. и пробовали свои роли
нерешительно, вдоль срединной линии
варежек.

Канцелярские принадлежности

что такое жилище? жилище — это
зачеркнутая звездами десятка треф. что
такое зачеркивание?

на промазавшем диалекте этих лесов
зачеркивание — дерево слов. и почему

родины играют в карты в воздухе? никто
никогда не видел, чтобы родины пошли
домой. дерево

в лесу смежных языков — это
масть треф. из ее леса

кто-то делает зачеркивания на карте.
страны заполняют свое жилище и

кладут канцелярские принадлежности
обратно
в пенал. что такое канцелярские
принадлежности? верните.

Нора Боссонг

Неподвижная охота

Кони бегут с холма, говорят,
куница или лиса поймала кролика, никто
не знает точно, редко кто остается здесь
ночью. Дом слишком большой
для дома, люди слишком богаты,
я им не ровня. Но все равно мы едем
охотиться вместе, по заросшим
кромкам фамильного поместья, ни один
зверь
не ломает ветку в подлеске, ни один труп
не распространяет свой запах как страшный
предок
на границах угодий. Я думаю, что терраса
скрывает всё, никто
не следует за мной, и с чего бы вдруг, мои
дни

лежат где-то не здесь. Лишь орланы-
 белохвосты на жердях
 не выпускают меня из виду, чувствую,
 что их колючие глаза уставились в мой
 затылок,
 пока я не споткнусь, но это не имеет
 значения, просто
 краткосрочное изменение старой системы
 взглядов.

Местоположение

Мы живем в городе без реки,
 границы здесь обозначены только ветром
 или ливнями. Ночью
 это пугает мою сестру, но в нашем доме
 никто не плачет, возможно,
 это ей помогло бы, возможно, толкнуло бы
 в пропасть
 безумия. Холод
 в ее голосе. Если бы расстояния можно было
 описать
 без рек, по крайней мере, было бы
 достаточно
 представлений: никто
 не проходит мимо нашего дома, и мы
 не видели родителей уже много лет.
 Но отдыха нет, этот город — словно
 остатки снега в марте. Лишь ветер
 придает дождю его форму,
 намекает на городскую черту. Наш дом
 остается
 запертым во льду и потерянным.

Песнь Роланда

И мы шли по моему родному городу
 почти молча, он не сказал ничего, словно
 всё
 должно было остаться произнесенным,
 горячий шепот
 тянулся этим летним днем,
 ни одно дерево не отбрасывало тень,
 ни одного туннеля,
 он отвел мою руку

от своего бока и спросил, где находится
 могила фон Лаудона — полагаю, он
 уже не хотел идти дальше,
 мой отец.

Оленьи рога

Игра закончилась. Как можем мы
 всё еще верить в сказки? Ветви
 больше не дрожат ночью, дичь
 больше не пробирается сквозь лес, и гроза
 растворяется в тучах мух. Несмотря на это,
 стоим на своем: зуд у нас под ногами —
 не иголки елей, не листья крапивы, мы всё
 еще следуем
 правилу трех, семь гор и
 Маленький Братец — олень и его любимая.
 Расскажи мне про оленьи рога на стене,
 Расскажи мне
 про игры мух. В нужный момент
 мы забудем споткнуться.
 Белоснежка спит.

Козодои

Собаки неслись по улицам, вовремя
 наколдовали козлов, трижды
 мы искали черных котов, по крайней мере
 булыжник мог послужить заменой
 горам. Мы слушали цокот копыт под окнами,
 козодои летали низко, кто-то произнес
 их название. Запах был такой,
 как от мух в бальзаме, поскольку козы
 заняли
 город. Они ели листву, перья,
 собачьи кости. Осенью козы
 начали спариваться перед нашим домом.
 Кошки
 забыты, а козодои низко. Это была просто
 бабушкина сплетня, но эти птицы
 кормили потомство сосцами коз. Фокусы —
 просто плохая шутка, и мир
 вторгся во чрево козье.
 Они продолжали давать молоко три дня,
 потом умерли.

Ирина Христюлова

Автопортрет



Предисловие Ксении Гашевой

Все, кто интересуется пермской литературой не как сиюминутным явлением, знают: Ирина Христюлова — детский писатель. Она придумала домового Топало, написала книжки «Колокольчики мои...», «Вася Кочкин, человек лет двенадцати» и «Загадочная личность». Пока в Перми регулярно выходили детские сборники, в них появлялись ее короткие сказки, неформатные по тем временам — неназидательные, тонкие, с привкусом абсурда. А вот «взрослую» прозу Христюловой не издавали (пара случайных публикаций не в счет, их и не заметил никто). Между тем нельзя хорошо писать для детей, если не умеешь писать для взрослых. Да и вообще: либо ты писатель, либо нет. Архив Ирины Петровны Христюловой сохранился чудом (стопка машинописи едва не отправилась на помойку, вместе с библиотекой). Но он сохранился, и теперь готовятся к публикации две книги, в том числе сборник замечательной автобиографической прозы. Рассказ «Автопортрет» в эти книги не включен — не вписывается в концепцию изданий, не встает в цикл. Но не напечатать его грех. В этом тексте не только отражается время, в нем есть индивидуальность, загадка, второе дно. С одной стороны, история реалистическая, с другой стороны, мистическая, с третьей — и вовсе литературный ребус. Несложный, если читать внимательно.

В одном маленьком городе умер художник. Он умер ночью, когда шел дождь. А утром выглянуло солнце. Оно осветило неживое лицо, и худые руки на одеяле, и старую кошку, дремавшую на столе. Видно, он умер тихо — кошка была спокойна и блаженно сжимала и разжимала коготки.

Его бы долго не хватились, если б к обеду кошка не стала мяукать и царапать дверь. Соседка почувствовала что-то неладное и заглянула. Она была женщиной спокойной, зато муж ее Степан засуетился и прежде всего подумал, что придется им хоронить и все расходы брать на себя. Но зря он переживал. Откуда ни возьмись — старухи появились. Некоторых Степан и видать не видал, будто с того света прибыли, чтобы забрать покойника.

И обмыли они его, и снарядили, и гроб заказали, и все это делали будто даже с удовольствием, будто раньше всё не тем занимались и наконец-то за свое дело взялись.

Когда положили покойного в гроб, у гроба поставили тарелочку, куда бросали медяки. И набросали много, потому что народ с утра до вечера шел — посмотреть.

Любая смерть на этой окраинной улице была событием и занимала людей надолго. Все вспоминали и рассказывали, когда последний раз усопшего видели живым, да что он сказал, и оказывалось, каждый даже за неделю до смерти говорил слова очень значительные.

Смерть художника тоже взволновала улицу. Но тут выяснилось, что никто его перед смертью не видел и никто толком ничего о нем не знал, даже фамилию не вспомнили, потому что при жизни его звали просто Мотя-художник. И был он вроде помешанный слегка. А почему помешанный и как это помешательство выражалось — никто точно сказать не мог.

Ходил всегда краской вымазанный, говорил мало, но злости в нем не было. По словам соседа Степана, видно, помешательство в том и заключалось, что тихий он был, в себя погруженный и рисовал с утра до вечера что-то несуразное. Говорить с ним Степану было неинтересно, он первое время пробовал заводить беседы о том и сём — о международном

положении и внутреннем, о своей жене и одной дамочке, — но Мотя на все отвечал тихой улыбкой, а глазами в разговоре не участвовал.

Жил он один — ни жены, ни детей. И никто не замечал, чтобы какая-то женщина у него была. И это после смерти оказалось единственной темой разговора о нем. Жалели, что раньше не посоветовали ему бабу завести, много после войны одиноких осталось, какая-нибудь и нашлась бы, прибрала его. Может, еще бы и пожил.

И тут не выдержала Капитолина Федоровна: уж кто-кто, а она Мотю знала — молоко ему продавала, и он приходил к ней каждое утро в 8 часов. Она жила одна, муж в самом начале войны погиб. Мужиков к ней много липло, да все не с серьезными намерениями. А Капитолина Федоровна была женщиной обстоятельной и лишних разговоров не допускала.

О Моте она всерьез подумывала. Если помыть его да приодеть — так не хуже других будет. Красота-то в их годы ни к чему, а что помешанный, так что с того — смотря какое помешательство, лишь бы не буйный. Вон Гришка нормальный и денег много зарабатывает, а жену бьет, как бешеный.

И стала она Моте намекать, разговоры про любовь заводить. Мотя слушал ее со своей странной тихой улыбкой, брал молоко и уходил.

— Потом, — говорила Капитолина Федоровна, — я его прямо спрашиваю: любил ли ты, Мотя, когда-нибудь?

— Свою матушку, — отвечает, — и еще одну девушку. Но это так давно было, что даже рассказывать не стоит, — и смотрит на меня, как младенец. И вот после этого разговора я и отстала от него. Мне мужик как мужик нужен, а что я с таким делать буду?

После такого признания, которое взволновало всех не меньше Мотиной смерти, как-то само собой получилось, что Капитолина Федоровна стала на похоронах главным человеком. Она давала распоряжения, и без нее ничего не делали.

Когда все было готово и могила выкопана, старухи в один голос заговорили, что покойника отпеть надо. Партийным он не был,

жил безгрешно, а ежели в Бога и не верил, то век ныне такой и ему прощается. Да и никаких указаний, чтоб не отпевали, он не давал. И насчет памятника тоже ничего не наказывал — то ли по-нынешнему со звездочкой ставить, то ли как Богу угодно — с крестом. Поскольку Капитолина Федоровна по этому поводу никаких мнений не придерживалась, то старухи меж собой порешили и отпеть, и крест поставить.

Церковь находилась на другом конце города, на кладбище. Гроб везли на телеге. Лошаденка тихо плелась по мостовой, и старухи в черных платках со скорбными лицами небольшой толпой шли за гробом и держали под руки Капитолину Федоровну. Поскольку не было у покойного родных, которых бы надо утешить в горе, все утешали Капитолину Федоровну, и она принимала утешения, и уже ей казалось, что Мотя и при жизни был ей человеком близким.

А Мотя лежал в гробу, ничего не ведая, не зная, как менялась его судьба, как цокала лошадь копытами, как шли за ним печальные женщины и среди них одна, у которой он покупал молоко. Как все изменилось, подумал бы он, его как будто даже полюбили. Но от этого ему не стало бы ни радостно, ни грустно, потому что все-таки все уже позади, и уже лошадь сошла с мостовой и свернула на узкую кладбищенскую дорогу. А еще он бы вспомнил сейчас, когда тело его тряслось в этой старой телеге, деревню, раннюю любовь и всю свою жизнь, отданную не женщине, не детям, а единственной страсти — рисованию. Всё, что он создал и на что потратил жизнь, сейчас осталось там, в комнате. Может быть, это и есть та истина, которую он не понял. Хотя и предполагал. Но решать не ему. Судьба его картин, вероятно, решится после его похорон, а пока ничего не известно, и эта неизвестность мучительна. Он бы постарался отвлечься от тоскливых мыслей и вызвал бы в своей памяти одно летнее утро. Как бежал он босой по лугу, совсем-совсем маленький, и штанишки мокрые от росы. Солнце поднялось еще невысоко, и росинки сверкали, и в мире было так тихо и сказочно, что ему хотелось плакать.

Он побежал к реке. Над густой водой висел легкий туман, он поднимался вверх, может, к облакам, а может, и выше. Да и облака, которые появились на небе, не из этого ли тумана?

Мотя сидел у реки, пока солнце не стало припекать. Тут встретил его пастух Оська, их сосед, дал ему пинка и велел идти домой, а то мать, поди, потеряла. Но мать не теряла Мотю. Однажды он слышал, как она молилась Богу, чтобы он прибрал ее сына, пожалел старую. Мотя толком не понял молитву, но чего-то испугался, убежал в чулан и сидел там долго.

И уж, конечно, не знал он, как мать в тоске, ночами, спрашивала Бога, за что он наказал ее таким дитём — неказистым да слабоумным. Ей и самой непонятно было, отчего Мотю звали слабоумным — писать и читать он ранехонько научился и все стихотворения вперед старшего брата Митьки запоминал. Но непонятен он ни людям, ни матери — и о чем часами думает, и чему улыбается, а то и вовсе засмеется вдруг? «Господь с тобой, — шептала она, — Господь с тобой!»

Рос Мотя болезненным, тощим и с мальчишками не играл, потому что его били. Все дни он был один, и не скучал. То на луга убежит, то в лес. И все хотел дознаться, отчего шумят деревья, или, скажем, дождь идет, или отчего у божьей коровки крылышки в крапинку. Весь мир представлялся ему огромной тайной, хоть с утра до вечера думай — ничего не придумаешь. А люди живут и не удивляются, и это Моте было очень странно.

Зимой Моте жилось хуже. Зимой холодно, куда побежишь? Зимой он больше читал книги старшего брата Митьки да рисовал желтым и черным карандашами, потому что других не было, никто не покупал.

Рисовал Мотя деревья и животных. Особенно у него получалась коза Манька, бороду он делал желтую, а рога черные. Даже старшему брату Митьке коза понравилась, и он повесил ее на стенку. Но остальные рисунки Митьке не нравились, а слово Митьки решало все. Наверно, поэтому и карандаши не покупали.

Но однажды Митька принес краски. То ли Мотя был именинник, то ли у Митьки какой праздник, но Моте вручили коробку красок и кисточку.

Краски Мотю потрясли. Сейчас можно было рисовать все что угодно: и небо — голубое, и лес — зеленый, и даже радугу.

Тот день решил судьбу Моти раз и навсегда. Он рисовал тайно от всех, будто было в этом что-то постыдное. И прятал свои рисунки, и дрожал над ними. Он рисовал даже мысленно, тогда глаза его пугали мать — ей казалось в них что-то безумное.

А что было потом? Что не забылось? Любовь? Да, любовь... Она была, не могла она не быть. Хотя сейчас, когда закончена жизнь, ясно, что всё это — тревоги минувшего и такого далекого, что едва различимы лица.

Он помнил, что ее звали Лина. Да, да, Лина. Жила она рядом, и забор из жердей разделял их ограды. Когда они были маленькие, она одна, тайно от других ребят, играла с Мотей, и иногда он доверял ей свои рисунки. Но дружба почти не сохранилась в его памяти.

Он помнит, как она его поцеловала, возможно, из озорства или из любопытства. Тогда ему было пятнадцать лет, он по-прежнему был худой, тихий и странный, и над ним по-прежнему смеялись и звали «чокнутый».

Он помнит — она была красивой. И еще помнит платье в горошек. Они сидели во ржи. Синие горошки на платье сливались с васильками, а желтые волосы — с колосьями. Потом он все это нарисовал, только не мог передать выражение ее лица — лукавого и правдивого, надменного и доброго.

Надменной с ним она была на людях и всячески старалась показать, что она, как и все, смеется над ним. А потом жалела его и казалась Моте взрослой женщиной, и он мог ей говорить все, что думает, больше уж ни с кем он так не говорил. Может быть, ей были не совсем понятны его рассуждения, но слушала она внимательно и чутьем угадывала, что всё это неспроста и что судьба ему уготовлена необычная.

Она рано вышла замуж за парня старше себя, рослого и веселого. Свадьбу гуляли три дня. Мотя лежал в чулане, а с улицы доносились песни, смех. На их крыльце кто-то плясал, и кто-то пьяный упал прямо у чулана.

Мотя лежал и плакал. Первый раз он чувствовал одиночество и почти физически ощу-

щал свою нелепость. Там, за дверью, веселились люди, и никто его не хватился, никто не позвал, и если бы сейчас он там появился, то, наверно, был бы совсем не к месту. И, наверно, ей было бы неприятно его видеть. Все эти мысли приносили страдание. И когда стало уже совсем невыносимо, Мотя встал и вышел на крыльцо. Он зажмурился от яркого солнца и сошел с крыльца на ощупь, как слепой.

На него никто не обратил внимания. Под окнами плясали, а Лина мать обносила всех брагой.

Лина с женихом сидели на лавочке. Лина шептала что-то жениху на ухо и смеялась. Мотя хотел уже уйти, чтобы она не увидела его, но тут ему поднесли браги.

— Выпей, соседushко, за невесту! — нареспев сказала Лина мать. И все заметили Мотю, и притихли. В деревне посмеивались, что Мотя в Линку влюблен, да всерьез не принимали. А тут всем стало интересно.

— Пей, пей! Сам скоро жениться будешь. А то уж руки занемели ковш держать, — все так же ласково пела Лина мать.

Мотя улыбнулся, обвел всех тихими глазами.

— А, Линкин ухажер пришел! — крикнул весело жених и подмигнул. Все засмеялись. Лина тоже рассмеялась, запрокинув голову. А к его губам уже подносили ковш браги. Мотя попятился. И тут встал жених и подошел к Моте.

— А ну, дайте-ка с мужиком выпью! — сказал он и опять подмигнул, и опять все засмеялись.

Жених взял ковш, отпил глоток и протянул Моте.

— Чего не берешь? Бери, а то на голову вылью. У нас так.

Мотя взял ковш. Он с усилием сделал первый глоток и больше не хотел пить. Но жених держал ковш, и ковш врезался прямо в зубы, и Мотя отталкивал его руками, и ничего не мог сделать. Он судорожно глотал отвратительную вонючую жидкость, и ему казалось, что это продолжается бесконечно. Уже никто не смеялся, и кто-то забарабанил звонко в окно и крикнул:

— Алексеевна, твоего Мотю спаивают!

Жених опустил ковш. Мотя увидел жалкое лицо Лины и покачулся. Но его уже держала мать. Она увела его в избу и уложила на кровать. И всю ночь мать сидела возле него, и тайком друг от друга они плакали.

Он встретил Лину в конце войны, когда вернулся из госпиталя. Дом был заколочен и оброс со всех сторон малиной. Мотя сидел на бревне у своего заколоченного дома, когда мимо него прошла женщина с ведрами. Она прошла, а потом вдруг вернулась обратно.

— Никак Мотя? — сказала она.

Мотя смотрел на нее — узнавал и не узнавал. Ясно было, что это Лина и в то же время ничего от нее не было. Стояла перед ним немолодая усталая женщина в низко повязанном платке, стоптанных кирзовых сапогах.

Он встал, подошел к ней, не зная, что сказать. И вдруг она заплакала.

— Постарел-то ты как! — сквозь слезы сказала она. — Как Митька-то ваш погиб, Алексева все тебя ждала, да не дождалась. Ведь не знаешь, где-могилка-то. Покажу...

И они пошли на кладбище. Лина все спрашивала, где он воевал да как жив остался.

— Писарем, говоришь, служил? — удивлялась она. — Похоронки писал? Ишь ведь какой ты везучий! А мой-то одно письмо и прислал и с тех пор без вести канул. Мужиков еще мало с войны вернулось, — вздохнула она, — да все инвалиды. Васи́лиса до сих пор председателем работает. Я тоже год была.

Все, что говорила Лина, задевало Мотю, сердце ныло от ее слов, а сама она, странное дело, будто непричастна была к самой себе. Он все представлял ту Лину, и как она председателем была — тоже представлял, а эту — нет. И сочувствовал он ей, как сочувствовал бы всякой женщине, но не как единственной. Всю войну он думал о ней, а ее уже давно не было. И потом в памяти он уже не находил границы начала и конца своей любви, все имело формы расплывчатые.

Они молча сидели на могиле, и он чувствовал себя одиноким и бесприютным.

Мотя решил возвратиться обратно в маленький городок, где лежал в госпитале после ранения — он не работник в деревне. Да и раньше не был работником.

Но прежде, чем навсегда уехать, он оторвал доски и открыл дверь дома.

Было темно и пахло нежилым, хотя все было знакомо и ничего не изменилось, даже стул стоял у печки, будто кто-то недавно сидел.

Мотя прошел в чулан и отыскал старый ящик, где хранил свои рисунки. Они были целы, но в беспорядке. Видно, мать смотрела их без него. А еще здесь должна лежать икона. Он перерыл все. Иконы не было.

Эту икону подарила ему какая-то бабка, которая ночевала у них однажды. Икона была старая, кое-где краски облезли. И, казалось, прямо из дерева проступал лик неизвестного человека. Человек был кроток и мудр. Он уже знал всю тщетность человеческой жизни. Но знал еще что-то, потому что не было в его лице тоски. Он был в чем-то уверен. И вот эта уверенность не давала Моте покоя, понять ее было все равно, что понять значение жизни.

Мотя осмотрел в избе все углы, думал, мать куда-нибудь повесила икону, но ничего не нашел. На кухне, в углу, он увидел другую икону, с детства знакомую, на ней был изображен строгий старец. Мотя почему-то его не любил, может быть, потому, что ему, этому чужому старику, молилась мать, чтобы Бог забрал ее сына, ее Мотю. Старец был равнодушен, он знал все людские грехи, и не сочувствовал, и не любил прощать.

Мотя сел на краешек лавки и просидел долго, неизвестно сколько. В заколоченные окна, сквозь щели пробивался солнечный свет, он полосами падал на пыльный пол, на выцветшие обои, на его грязные сапоги.

Вечером Мотя собрал небольшие пожитки и ушел из дома. Да, и это было давно, за-долго до его смерти.

...На кладбище тревожно кричали галки. Лошадь привычно вошла в открытые ворота, свернула к церкви.

Галки кричали наперебой, взлетали, хлопали крыльями, будто хотели о чем-то предупредить. Но Мотя уже ничего не мог знать, и крик галок для него не существовал.

Гроб внесли в церковь, поставили. Смотрели на него со всех сторон безмолвные святые.

Голос у священника был сильный, но пел он бесстрастно. И это бесстрастие очень по-

действовало на Капитолину Федоровну. Она вдруг поняла, что все, что тут происходит, очень обычно, и что священнику скучно петь каждый день.

— Упокой, Господи, раба божьего Матвея!

Его отпевали. Те последние нити, которые связывали его с жизнью, — таяли, исчезали. Что тревоги и слезы под этими сводами, под это пенье! Ведь все, что было, что не было — обещало покой.

Церемония прощания коротка. Капитолина Федоровна поцеловала его в лоб, и лицо покойного покрыли белым полотенцем.

— Вечная память усопшему! — И хор жалобно и торжественно подхватил:

— Вечная память!

Он лежал под высокими холодными сводами, отпеваемый, никем не признанный, и кричали за окном галки, будто вторили хору.

После похорон в комнату, где жил Мотя, вызвали участкового уполномоченного Сажина. Сюда же пришли управдом Колечкин, Капитолина Федоровна и несколько старух.

Капитолина Федоровна оглядела все хозяйским взглядом и пожалела, что картины пропадут. Зря Мотя рисовал с утра до вечера, изнурял себя.

— Да, — сказал участковый Сажин, — с этими картинами одна морока. В учреждения они не подходят — природа и никаких идей. Уж не Левитан так не Левитан. А денег-то на краски ухлопал! — вздохнул он. — Телевизор можно купить.

— Да будет вам! — сказала Капитолина Федоровна.

— Грех о покойнике так говорить, — сказала одна из старух.

— Ладно, граждане, разбирайте кому какой пейзаж, — сказал участковый Сажин. — Морока. Понарисуют, а потом разбирайся.

Все выбрали по картине, а управдом Колечкин взял две.

Участковый Сажин заглянул под кровать и увидел там еще несколько рамок, связан-

ных веревкой. Рамки доставать ему не хотелось — лишние хлопоты, и он сделал вид, что не заметил. Но тут сосед Степан тоже сунулся и радостно завопил:

— Люди добрые, да еще-то сколько! — буд-то Америку открыл. Сажин про себя выругал Степана, а вслух сказал:

— Развяжите!

Развязали. К удивлению Степана и остальных присутствующих, это были портреты. Их поставили вдоль стены. И оказалось, все они похожи друг на друга, хотя чем-то и отличались, будто какое-то давно забытое лицо не давало художнику покоя, будто что-то он хотел в нем разглядеть.

Один портрет, видимо, был написан недавно, он еще не успел запылиться и потускнеть. Лицо человека было приближено, занимало почти весь холст, и не видно было впалой груди, как на других портретах.

Лицо было узко, бледно и кротко. Странны были глаза — скорбные, всепоглощающие, и в то же время они не оставляли впечатления безнадежности, в них были покой, и ясность, и уверенность.

Все молчали. Сажин сел на стул и снял фуражку. Одна старуха вдруг перекрестилась, а за ней стали креститься остальные.

— Еще чего! — строго сказал участковый Сажин.

— Да святой это! — шепотом сказала старуха, — не могу только вспомнить кто.

Капитолина Федоровна смотрела на портрет пристально и не могла отвести взгляд. Было что-то знакомое в этом человеке, особенно глаза его.

— Да господи! — вдруг сказала она. — Да какой это святой! Да это же Мотя!

— И правда Мотя, — удивленно сказал Степан и растерянно посмотрел на Сажина.

Участковый Сажин надел фуражку и сказал:

— Ну ладно, граждане, расходитесь!

Но сам Сажин не знал, что ему делать, и снова снял фуражку и сел.

Самолет Самойлов

Александр Самойлов. *Самолет в Боливию*. — [Б. м.]: Издательские решения, 2021



Последние книги Александра Самойлова, а я говорю про «Водолаз провел под водой четырнадцать лет» и «Самолет в Боливию», увидевшие свет благодаря издательской системе Ridero и отличающиеся друг от друга, кажется, только разницей в три года, схожи в принципиальном: обе являют апогей поэтического метода Александра Самойлова, предьявляя челябинского поэта в расцвете сил и творческих возможностей. Самойлов вполне достиг уровня, когда автора можно узнать если не по паре произвольных строк, то точно по паре строф. Но... — и сдается мне, что ради «но» и пишется рецензия, — говорить о беспрецедентной уникальности поэзии Самойлова при ее блистательной виртуозности я бы не спешила. По край-

ней мере, самоейловская поэтика отчетливо складывается из нескольких составляющих, достаточно опознаваемых и в некотором роде формирующих горизонт ожидания от текстов, за пределы которого автор не выходит, да и не особо стремится.

Первой составляющей является так называемый «новый эпос» и в целом нарративная поэзия, поскольку стихотворения Самойлова отчетливо сюжетны и читаются не то как микропесни, не то как истории, которые рассказывают на ночь с целью ни за что не заснуть, не то и вовсе как анекдоты. А как же еще понимать драматический текст о маме Деточкина, настоящей автоугонщице, действующей во имя Пятого интернационала?

*А маме сказали:
— И молодым, и старым
найдётся место
в отряде Че Гевары.*

*С такими кадрами
капитализму скоро капут!
Самолёт в Боливию
через сорок пять минут.*

Или историю про родственников покойника, отслеживающих по трек-номеру его

отправку на тот свет, которая превращается в описание трипа внучатого племянника в пустыню Гоби, в обступающую ночь. И проч., и проч.

Кажется, Самойлов, фонтанирующий невероятными сюжетами, всезнающ и всевидящ, потому что завел собственный сверхзвуковой самолет, подземную подводную лодку, цайт машин, а заодно аппарат для просвечивания жизни до состояния смерти. И этот аппарат, ко всему прочему ставший его любимой машинкой, был где-нибудь в челябинских гаражах приспособлен для взгонки абсурда и черного юмора в поэтических текстах. Так что невероятное в них легко оказывается смешным, а смешное невероятным. На выходе мы имеем сплав городского фольклора, блатного романа, ненаучной фантастики и фантазмов опоздавших родиться романтиков, увлекшихся гротеском, но притом уже открывших для себя философию Хайдеггера и прочитавших «Распад атома». Что-то даже близкое «Экспедиции» Елены Михайлик, но без ее антропологического интереса к обитателям того же самого невероятного.

— В своём ли ты, дочка, уме?
 Сталин зверь обитает
 на Колыме!
 Увидишь только один его
 след —
 сразу минус двадцать пять
 лет!

Фактически же у Самойлова немало переключек как с зачинателями «нового эпоса» Федором Сваровским и Андреем Родионовым, так и с осознанно ориентированным на них уральским Никитой Ивановым (итоговая книга которого «Василий» недавно вышла в серии InВерсия, поскольку Никита Иванов как литературный проект завершен). От «нового эпоса» у челябинского автора балладная сюжетность, фантастика с прицелом на будущее или потустороннее и разговорная интонация, тянущая за собой разговорную лексику.

В бошку стрелынет
 из ружьишка,
 закричишь ему:
 — Чего?!

Он в ответ:
 — Прости, братишка,
 не признал за своего.

И здесь самое время вспомнить о второй составляющей поэзии Александра Самойлова — инерциях концептуализма и постконцептуалистских опытах (от Даниила Давыдова до Тараса Трофимова, Артема Быкова и Влада Семенцула). По крайней мере, в контекстах концептуализма опознаваем самойловский герой, чаще всего маргинал, живущий здесь и сейчас, оперирующий приметами совре-

менности — от политических реалий до денежных кредитов, но выстраивающий тщательный частокор вокруг частной жизни, и внутри этого честного пространства лишаящий пафоса любую социальность. «На снисходительность / я не рассчитываю, / сдачу в маршрутке сижу / пересчитываю». Плюс игра с интертекстами и все та же ирония. Плюс ослепительно черный юмор, которому должны бы позавидовать нынешние асы иронической поэзии Игорь Караулов и Всеволод Емелин.

Самойлову, с его устойчивым интересом к маргинальному и умением видеть абсурдное, удастся, с одной стороны, хирургически точно запечатлеть полубарачное существование провинции (кстати, не обязательно уральской, хотя Челябинск так или иначе обозначается в текстах), с другой стороны — масштабировать отдельные бытовые детали до символов: брэнности, тлена, отсутствия ориентиров в жизни и т. д.

Так вот, третья составляющая самойловской поэзии — неожиданно лирическая. Но не абстрактно лирическая, а конкретная, восходящая к поэзии Георгия Иванова с его фирменными интонациями, экзистенциальными вопрошаниями и падениями в бездну отчаянья.

*Приходите, будет скучно,
 будет сонно и темно,
 будет муторно и душно
 и почти что всё равно.*

*Будет комната пустая
 и пустой дверной проём.*

*Приходите, начинаем,
 больше никого не ждём.*

Можно продолжить примерно с той же самой ноты: «Что мертвее быть не может / И чернее не бывать, / Что никто нам не поможет / И не надо помогать».

Самойлов, конечно, не ошеломителен в поэтических пристрастиях — на Урале Георгия Иванова любят давно и осознанно. Следы его прочтения можно найти и у Андрея Санникова, и у Бориса Рыжего, и у Елены Сунцовой, и у Андрея Торопова, и у других. Но именно следы. Пожалуй, только Самойлову среди прочих удастся не просто присвоить ивановские интонации и приемы, но оказаться примерно в тех же самых точках на карте человеческой экзистенции (что бы это ни значило), где ранее было зафиксировано местонахождение предшественника.

И вот что интересно: Иванов, говорящий через Самойлова, нейтрализует ироническое, смеховое, фантазмагорическое, придает внутренний смысл тому, что имело все шансы остаться бессмысленным, создает аффект там, где эмоции не были предусмотрены, указывает на зоны сентиментальности автора, сколь бы брутально он ни выглядел. И в конце концов на фоне метафоричной свирепости Виталия Кальпиди, плотной вещественности Алексея Сальникова, отчаянных нарративов Сергея Ивкина — уральские ряды можно множить и множить, — Самойлов иногда даже бывает нежен.

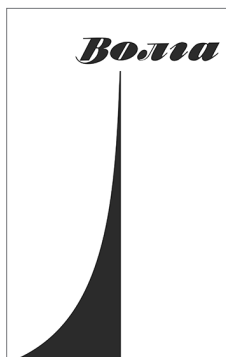
Юлия Подлубнова

Мы не можем жить без космоса

Саммер Ленц. Плавучий универсам доктора Фитца. «Волга» №9, 2019

Саммер Ленц. Большое космическое путешествие. «Волга» №11, 2020

Саммер Ленц. Собака сутулая, или Несколько дней из жизни Кассиопеи Кирпичниковой. «Волга» №3, 2021



Саммер Ленц — писательница, которая родилась вовсе не в 1984 году в деревне Жуланово Соликамского района, как написано в официальной биографической справке в журнале «Волга», а в 2019 году буквально на страницах «Вещи»: именно тогда для публикации двух коротких рассказов — «В гостях у Денисовых» и «Договор» — и был придуман этот псевдоним.

Тайна псевдонима тщательно сохраняется. Известно, что писательница училась на филфаке в Нижнем Тагиле, участвовала в сетевых литературных конкурсах, живёт в Красноуфимске. Очень может быть, что это просто легенда, и под ярким литературным псевдонимом («Саммер» — по-английски «лето», Ленц — фамилия самого харизматичного из «Трёх товарищей» Ремарка) скрывается другое писательское имя, достаточно

известное. Об этом говорит мастеровитость текстов, выходящих из-под пера Ленц: профессионализм не скроешь. Подобно Григорию Шалвовичу Чхартишвили, этот писатель берёт разные псевдонимы для разных жанров и стилей, как бы создаёт новые писательские личности.

Так что же за писательская личность — Саммер Ленц? В жанре фантастической прозы эта уральская писательница делает то же самое, что Ярослава Пулинович в драматургии: пишет от лица детей — от совсем маленьких до подростков; в случае с Ленц — ещё и от лица животных, поскольку героиня «Собаки сутулой» Кассиопея Кирпичникова — натурально, собака. Эти персонажи создаются писательницей с хорошим знанием и пониманием: чувствуется, что дети и собаки не просто близко знакомы ей, но и являются поводом для пристального внимания и анализа.

Детей любят все, по крайней мере, утверждают, что любят. Но многие ли умеют на равных, с полным пониманием разговаривать с детьми, ставить себя на их место, осознавать, отринув стереотипы «счастливого детства», насколько сложна жизнь маленького человека? Это редкий талант, присущий далеко

не всем даже детским писателям, а Саммер Ленц обладает им в полной мере.

Главное достоинство её книг — удивительная достоверность; достоверность не только психологическая, но и бытовая. Это особенно важно, когда речь идёт о фантастике. Казалось бы, фантастический текст — это чистая выдумка, какая достоверность? Однако, как это ни парадоксально, вымышленный мир только тогда художественно убедителен, когда он максимально правдив и реалистичен. У Саммер Ленц эта достоверность достигает вершин мастерства. Особенно это видно в самом значительном на сегодняшний день произведении писательницы — «Большом космическом путешествии».

Повесть написана в жанре альтернативной истории. Дело происходит в 1985 и начале 1986 года в прикамской глубинке. Все, кто помнит это время, при чтении текста почувствуют его кожей, языком и зубной болью: кажется, что прошлое буквально ожило, все детали такие знакомые! Вот только... Подождите... Ведь всё было не так!

Да, обстоятельства времени и места — настоящие, подлинные, а ход вещей — не тот, что был в нашей исторической реальности, а тот, о котором

мечтается добрым людям, тем людям, которые хотят открытых границ, дружбы и мира во всём мире, счастья для детей, безопасного покорения космоса; и чтобы не было никаких катастроф...

Саммер Ленц исключает из хода истории два громких трагических события, случившихся в 1985 и 1986 годах, и тем самым даёт нам надежду на то, что ход событий в мире может быть более счастливым. Очень важное чувство в наше время.

Сложно писать об этой прекрасной повести без спойлеров, но надо постараться, чтобы для тех, кто ознакомится с нашей рецензией, её чтение оставалось по-настоящему захватывающим Большим Космическим Путешествием, которое по определению должно быть непредсказуемым и изобилует сюрпризами.

Кроме обилия тонко подмеченных бытовых деталей из жизни прикамской глубинки середины 1980-х годов, кроме психологической достоверности в повествовании,

где протагонист — молодой человек детсадовского, а потом младшего школьного возраста, в «Большом космическом путешествии» есть ещё одна грань достоверности — языковая. Саммер Ленц то ли просто полиглот, то ли умеет почувствовать и передать чужую языковую среду так, что во время чтения «Большого космического путешествия» временами кажется, что повесть написал англоязычный автор; а в рассказе «Плавучий универсам доктора Фитца» имитация немецкой языковой среды — имени, названия, реалии — приятно увлекает в мир прозы Джеймса Крюса: кажется, что читаешь текст из «вселенной» Тима Талера с его проданным смехом.

«Плавучий универсам...» — небольшая литературная экстравагантка, которая, как и прочие произведения Саммер Ленц, говорит о самых важных для маленького человека вещах — о семейной любви, о дружбе, о сложностях вхождения во взрослую жизнь.

В рассказах и повестях Ленц семья — главнейшая ценность, и семьи у её героев всегда любящие, даже если они неполные и небогатые. Семья для ребёнка — безопасная бухта, оазис, спасающий от обид, разочарований и предательств, вроде тех, о которых идёт речь в «Плавучем универсаме»... И, судя по непафосным, но весьма убедительным текстам Саммер Ленц, для взрослого семья — не менее важное обстоятельство в жизни.

Вообще, проза Саммер Ленц — из числа тех редких литературных вещей, которые написаны вроде как для детей, но абсолютно на равных, без сюсюканья. Это стопроцентно семейные вещи, которые взрослым показаны не меньше, чем детям. Прочитав произведения загадочной писательницы из Красноуфимска, опубликованные в 2019–2021 годах, читатель убедится, что между детьми и взрослыми гораздо больше общего, чем принято считать.

Юлия Баталина

Рассказы без метафор

Антон Бахарев. *Когда папа был маленький.* — Пермь: Сенатор, 2021

В жизни поэты чаще всего обращаются к прозе. Не только разговаривают ею, но и думают, и выстраивают сюжеты своих жизненных историй по законам романов, повестей, новелл, анекдотов (когда как). Изъясняющийся стихами

персонаж в очереди за пивом или у станка, конечно, встречается, но только в произведениях искусства, то есть от жизни в некотором отдалении. Переход поэтов к прозе в литературе проходит не так часто да гладко. Если с жанром

анкеты, жалобы или требования гонорара многие справляются достаточно успешно, то в художественной прозе удачи не так часты. И лишь отдельные виртуозы одинаково убедительны и в прозе, и в стихах.



Антон Бахарев грозит стать одним из них. Скажу честно, появление его на культурном горизонте насторожило и меня лично, и близких мне читателей. Настойчивый пиар, агрессивная вездесущность, акцентированная пацанистость, местечковый акцент текстов с привязкой к конкретной географии, даже двусложная фамилия Бахарев-Чернёнок как-то отпугивали. Казались слишком далёкими от поэзии. Ладно бы, это внешне напоминало авангардистскую браваду (у них, левых поэтов, так издавна принято). А то ведь вполне традиционные по форме тексты про любовь к родному краю да своё босоное детство. Потому дальше беглого окунания глаз в полношумный обильный поток данных стихов дело обычно не шло. Лишь продравшись сквозь эти колючие кустарники, люди непредубеждённые смогли выйти в настоящий поэтический лес. И там с веток текстовых деревьев на них щедро сыпались листья образов. Ярких, пёстрых, ароматных и при этом вполне естественных, природных: «сорвавшимся псами рычат в сторонке небе-

са», «люди на балконах — как берёзы», «я тут стою во сне и наяву, схватив свой выдох, словно тетиву, боясь тоской и ревностью поранить», «взгляд луны пустоголовый, и пахнет, словно в термосе», «я сам с деревьями качаюсь — и превращаюсь в этот шторм, и превращаюсь». Словно в золотую осень (индейское лето) попал. Для нас с друзьями момент истины наступил на уличной экспозиции, когда щиты-плакаты с бахаревскими стихами да его же фотоработами дружно окружили площадь Дружбы в рабочем районе Мотовилихе. Мы даже акцию специальную провели в поддержку — с прокладыванием поэтических тропинок среди околonoвoгoдних сугробов да написанным на снегу лозунгом «красота пасёт мир». Тогда стало ясно, что не стихом единым жив автор, но и в другой технике имеет что сказать при погружении в самую гущу прозы жизни.

И вот новый поворот. И мотор ревёт издательских машин, и пропасть или взлёт внимания читательского ожидается. Антон выпускает книжку детских рассказов. Для детей, про своё детство, по-детски оформленную. Очень способствуют созданию атмосферности картинки Татьяны Ипатовой. Не иллюстрации, а именно картинки. В стиле примитивизма с присущей ему яркостью да простотой, выразительностью да заразительностью. И взгрустнётся порою, и задумается, и повеселится от души над этими страницами. Истории неза-

мысловатые, непридуманные, жизненные. Про счастливую пору начала взросления одного совсем невзрослого человека, похожего на всех нас и в то же время вполне конкретного, своеобразного, со своим характером, логикой поступков, речей, мыслей. Вот он кладёт арбузную мякоть в карман рубахи, чтоб угостить маму вечером. А вот сжигает спичками волосы на мамином кактусе. Не со зла, «просто приходил Серёжка, поиграли мы немножко». Вот отдаёт единственный зелёный карандаш соседу, чтоб тот больше не плакал, рисуя синие листья на дереве. А вот до вечера прячется ото всех в канаву, мечтая о крошечном телевизоре, который на тот момент ещё не был изобретён.

Язык изложения этих простых-непростых историй прост, без явно выраженных метафор. Но они рождаются при чтении, когда образ разворачивается последовательно в голове воспринимающего, как парашютики одуванчика из одноимённого рассказа или топляк под ложкой плывущего в другой истории. Даже исчезновение старого рождает нечто новое: «Когда мама пришла с работы, она очень удивилась. Мама внимательно посмотрела на папу и спросила, кто этот мальчик. Папа немножко испугался и сказал «это я». Тогда мама засмеялась и сказала, что она пошутила. И что папа молодец и самостоятельный. А чёлка — это волосы на лбу, которые мешают рассматривать окружающий мир». Это не живописные или

поэтические, а сюжетные метафоры чаще всего. Манера письма, как и общий настрой, сразу вызывает в памяти любимые «Денискины рассказы» Виктора Драгунского, «Фантазёров» Николая Носова, «Как папа был маленьким» Александра Раскина. Но также и более авангардные «Случаи» обэриутов (Александра Введенского, Николая Заболоцкого, Николая Олейникова, Даниила Хармса, Евгения Шварца, др.) из прогрессивных детских журналов «ЁЖ», «ЧИЖ», «Сверчок». Так убедительно пишет автор от лица своего юного героя, передавая естественную детскую манеру мышления, близкую сознательным авангардистам, абсурдистам, эксцентрикам: «Так прошёл час или половина

дня, потому что когда скучно, то этого не запоминаешь. Но потом пришла папина мама и начала стоять в очереди, а папа пошёл домой кушать жареную картошку. Вечером мама пришла домой и принесла дефицит. Она сама не знала, что в этот раз будет дефицитом. А это были три баночки с бразильским кофе. Папа не любил кофе, но всё равно очень обрадовался».

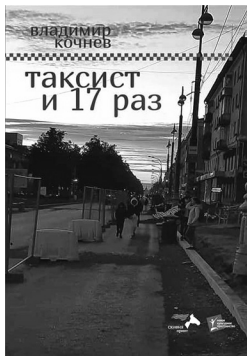
Книжка родилась из рассказов автора для сына про собственное детство в эпоху восьмидесятых, мало похожую на нынешнюю. Такое рождение — самая хорошая рекомендация. В историях, сочиняемых изначально для своих (либо знакомых) детей, обычно стараются вовсе, без оглядки на внешние факто-

ры. Хочется увлечь, удивить, запомниться. Из подобного опыта родились и вышеупомянутые шедевры Драгунского, Носова, Заболоцкого, и многие классические книжки мировой литературы. Вспомним хотя бы «Алису» Кэрролла или «Доктора Дулиттла-Айболита» Лофтинга, «Остров сокровищ» Стивенсона или «Прелестные приключения» Окуджавы. Сюжеты, герои, диалоги из писем для своих переходят в напечатанное для всех. И все взахлёб читают. Уже который век. Надеемся, и у небольшой яркой книжки Антона Бахарева будет большая история. И продолжение. В виде новых интересных творений.

Сергей Сигерсон

Солнечный мир

Владимир Кочнев. Таксист и 17 раз. — СПб: Скифия-принт, 2021



У поэтов всё хорошо, а проза в кризисе — сложившееся мнение, бытующее уже не первое десятилетие. Кочнев —

сложившийся поэт. Известный, публикуемый, имеющий собственный легко узнаваемый стиль. Его стихи — точные, меткие, сфокусированные. В нескольких строчках автор легко решает самую сложную художественную задачу. Зачем ему проза?

В его новой книге «Таксист и 17 раз» собраны рассказы примерно за 10 лет, всего 20 рассказов — получается, примерно один рассказ раз в полгода. Порядок их не хронологический — и это делает сборник, как и положено, самостоя-

тельным произведением, экспозицией, которая проходит в заданном порядке. Самостоятельным текстом, раскрывающимся новыми сторонами по мере прохождения его от начала к концу.

Язык и герои — два главных элемента кочневской прозы. И ни того, ни другого мы не встречаем в начале пути. «Вход» обескураживает: язык кажется бедным и наивным, герой рассказа — персонажем журналистского юмора, высмеивающего жанр «разговоров с таксистом». Но

разочарования не наступает, скорее, возникает ощущение какой-то загадки. Кочнев-пототочно чувствует язык, подготовленному читателю это известно. Бедность повествования сразу кажется нарочитой; и автор умело подмигивает этой догадке. В середине рассказа вплетается яркая параллель с чеховским рассказом, а ближе к концу нам дарят красивый образ: *«он как гнилой кабачок — ткни пальцем, и потечёт»*. Ведь этого же мы ждём от литературы, эти фокусы нам так нравятся. Но автор, как шукшинский танцующий Шива, всего лишь показывает нам, что так, как все — он тоже умеет. Но и только; драма человеческих отношений, раскрытая в коротком рассказе, сама по себе важнее языка, важнее красоты слова. Она намеренно рушится даже сухой математикой: герой точно подсчитал, сколько раз девушка прокричала его имя, словно поверил алгеброй меру её отчаяния. Поломанность, несовершенство человеческих отношений превращаются в нарочитую поломанность и несовершенство языка, и в поломанность, разорванность сюжета, где возможные финалы на равных переплетаются между собой. Это сложная художественная работа, и не случайно этот рассказ написан последним по времени.

Приветственный ледяной душ, однако, быстро компенсируется. Проходя по дороге дальше, мы окунаемся в омут кочневских героев, и об этом нужно говорить отдельно.

Героя нашего времени в литературе ждут с начала девяностых, было много серьёзных попыток его найти — от юного политического радикала до офисного карьериста, но время не приняло ни одного из них. Пока это место вакантно, но Кочнева оно и не интересует. Его в принципе не интересует Герой с большой буквы. Его интересуют те, кто не интересует никого. Неинтересный человек — так мы думаем, на улицах скользя глазами по тем, кто нашёл своё место на страницах кочневской прозы.

В этом выборе — авторская уверенность в собственных силах, и она оправдана. Маргиналы, так он сам их называет — а как их ещё назвать? Лузеры? Но лузер — это тот, кто чего-то не достиг, а его герои и не хотят ничего достигать. Маленькие люди? Но маленькие люди типичны, их много, а эти, наоборот, существуют «на полях». Все они просто существуют и больше ничего не делают, миру от них не достаётся ничего, но и они у мира ничего не просят. Легко рассказывать о тех, кто обычен, ещё легче о тех, кто необычен. Но как говорить о тех, кого вообще как бы нет? Людей, подрабатывающих раздачей листовок, уличной музыкой, живущих в общежитиях и сквотах, и даже те из них, кто достиг какой-то финансовой стабильности, несчастны и неприкаяны. О тех, кто неинтересен тотально, тех, кто неинтересен даже сам себе? У Кочнева — получается. Их драмы — настоящие («Ирина»),

их маленькие трагедии — тени больших трагедий («Мясник»).

Отдельного упоминания заслуживают взаимоотношения героя с женщинами, этой теме посвящена едва ли не большая часть сборника. И здесь мы обретаем авторский взгляд через ту же призму намеренно простых — а на самом деле по-хлебниковски точных формулировок. Женщины там разные. Проститутки, к которым автор словно вовсе не испытывает эмпатии («Аборт»). Лесбиянки — которым мужчина нужен как инструмент, *«но инструмент тоже чувствовал наслаждение»* («Саша и Марийка»). И просто те, кого мы любим — и кому неминуемо делаем больно. В этих рассказах нет счастливой любви — не потому, что автору она неинтересна, а потому что её, видимо, нет совсем. Кочневский мужчина светит отражённым от женщины светом и гаснет вместе с ним. Любовь возникает из праха и претворяется в прах раньше, чем успеет по-настоящему ожить. *«Чувство, зародившееся в гениталиях, достигло сердца и родило боль»*. Поэтому вокруг темы любовных отношений у автора так много метафор механистичности, кукольности, как и мотивов обречённой предреши́нности. И в этом характерная черта кочневской манеры — констатация очень часто не перерастает в сюжетный конфликт, она заменяет собой конфликт, порождая мучительное напряжение своей неразрешённостью.

Автора можно, следуя моде, обвинить в мизогинии, но для

этого надо обладать «куриными мозгами». Женщина в мире этой прозы не объект, а основа бытия, активное начало, демиург — который, неожиданно, наплевал на своё могущество, отнёсся к нему с не подобающим статусу легкомыслием. Поэтому автор так безжалостен к проституткам: им дано божественное право, а они предали его. Секс для героев этих рассказов — повинность и ноша, от которой нельзя ни сбежать, ни откупиться — даже наоборот, это приведёт к ещё большим потерям (*«Проститутка сожрет его последние пирожки, подумал он с горечью»*). Женщина — хозяйин этого бремени, она свободна распоряжаться им, поработав мужское начало (*«Она восстанавливается быстрее тебя»*). Но в этой своей наивной жестокости она сама не понимает, насколько уязвима и нуждается в бережном отношении. У Кочнева нет неуязвимых.

Говоря о рассказах подобного рода, рассказах о «простом человеке», о его быте и переживаниях, конечно, принято вспоминать кого-то вроде Шукшина. Да, во многом это «чудики», люди, которые не нашли себе места. Но они не особо переживают по этому поводу. Для них нет критерия нормальности, и у них нет ощущения собственной ненормальности; они не противопоставляют себя обществу (как, казалось бы, должно было быть) и вообще не видят себя какими-то особенными, отличными от него.

Скажем, вот сюжет: герой андеграунда годами тайком

копит деньги на квартиру. Что тут нужно для привычного драматического поворота? Конечно, их потеря, трата на какое-то неожиданное дело, ну пропьёт он их, например, или пожертвует несчастному. Но герой Кочнева эту квартиру совершенно буднично берёт и покупает. В том-то, однако, и драма: ложной оказывается даже творческая божественность (два по-настоящему божественных героя существуют только в легенде, один из них повесился, а от второго вообще осталось только ухо). Чудики и маргиналы — такая же часть этого безжалостного будничного мира, он поглощает их с равнодушием трясины, как поглощает вообще всё. В нём всё тонет, его ничто не способно поколебать. Ни страдание, ни убийство, ни предательство не разрушат будничной повседневности, она подстроится, как живой организм (*«словно у стула выросло всё необходимое»*). И только герой-рассказчик спокойно сообщит нам об этой нескладности мироустройства. Маргинал не противостоит этому миру, потому что сама реальность действует по маргинальным законам, и кто примет этот поломанный порядок вещей, тот счастлив. Только автор — не из этих людей.

Один из рассказов выбирается из общего строя, рассказывая историю человека системного и успешного — и тем, однако, тоже совершенно неинтересного. У него скучная профессия инженера, скучный возраст подходящей старости, скучная жизнь, и даже

фамилия у него немецкая — русский стереотип о немцах как о скучных людях хорошо известен. У него, да, конфликт с реальностью — ему кажется, что жизнь взяла у него больше, чем дала взамен — но и это совершенно скучный, неинтересный конфликт. И вот небольшое возмущение на поверхности этой гладкой трясины — ссора с женой — заставляет героя пойти на странный поступок, отреагировать на необычное объявление. Тогда странный человек из объявления обещает показать ему неожиданные места в пространстве города, в которых рождается ощущение эйфории.

И происходит чудо: каждый раз, помещённый в совершенно обыденное, подчеркнута грубое и грязное пространство, среди которого находится какой-то маленький островок такого же грубого уюта — скамейка, столик с приваренным стулом — герой осознаёт, как его восприятие мира постепенно меняется, он ощущает, как *«реальность затанцевала»*. Эти сеансы затягивают его, и он словно проживает жизнь заново, и меняется, становится таким, как если бы жил её иначе. *«Он давно казался себе застывшим чурбаном, куском черствого заплесневелого хлеба, все ощущения которого застыли в огрубевшей, окаменевшей корке. Оказалось, внутри сохранился мякиш»*.

Финал рассказа провоцирует литературные аналогии — вставшего в транс героя окружает полицейский

патруль, и это узнаваемая сцена. Так же Веничку из «Москвы-Петушков», сидящего в алкогольном трансе, окружают «ангелы», превратившиеся в чертей-милиционеров. Кочневского героя тоже подозревают в «употреблении» — правда, наркотиков. Но предъявить ему нечего, его переживания — настоящие. И «ангелы» отступают, оставляя героя наедине с собой.

Я нахожу в этом рассказе метафору всего сборника. По мере его прохождения, от тек-

ста к тексту, язык становится всё более щедрым, сюжеты усложняются, герои раскрываются полнее, авторская сухость сменяется долгожданной иронией, реакции героев наполняются эмоциями. Через нищих, мающихся от неустроенности людей, страдающих, но слишком поверхностных женщин, богемных маргиналов, чудиков с ведическими идеями и детей, единственная судьба которых — *«будущие голники»*, через выстроенную наивность языка, всё услож-

няющуюся и усложняющуюся к концу, мы проходим, как герой рассказа, инженер Крауде, проходит через корявые, некрасивые пространства к той неожиданной, невзрачной волшебной точке, на которой вдруг происходит что-то необъяснимое, и перед нами раскрывается тот самый солнечный мир.

И здесь прозаик Кочнев снова превращается в Кочнева-поэта.

Алексей Траньков

Иван Ахметьев родился в 1950 году в Москве. Окончил физический факультет МГУ. Публиковал неофициальную поэзию и прозу советского времени (Евгений Кропивницкий, Георгий Оболдуев, Иван Пулькин, Ян Сатуновский, Павел Улитин и др.); соредатор поэтического раздела антологии «Самиздат века» (1997), куратор созданного на его основе интернет-проекта «Неофициальная поэзия». Составитель, редактор и соредатор ряда других антологий и авторских сборников. Лауреат Премии Андрея Белого в номинации «За заслуги перед русской литературой» (2013). Автор семи поэтических книг. Живет в Москве.

Михаил Бараш родился в Москве в 1958 году. Получил высшее образование биофизика. Публиковался в журналах «Третья модернизация», «Эпсилон-салон», «Русская мысль», «Континент», *La lettre internationale*, *The North Atlantic Review*, «Черновик», «Зеркало» и в интернет-журналах TextOnly, «Двоеочие», «Топос». Автор книг «Празднество повседневности» (2020), «Стол моря, ваза неба, цветы облаков» (2021). Живет во Франции.

Никита Бегун родился в 1988 году в Ленинграде. Окончил математико-механический факультет СПбГУ. Кандидат физико-математических наук. Автор книг «Под столом» (2010) и «Скип» (2013). Шорт-листер премии «Дебют» (2009) и лонг-листер Премии Белкина (2012). Живет в Санкт-Петербурге.

Мария Ботева родилась в 1980 году в Кирове. Окончила факультет журналистики УрГУ, Екатеринбургский театральный институт (семинар Николая Коляды по драматургии), Школу документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Публиковала стихи и прозу в журналах «Новый мир», «Урал», «Октябрь», «Воздух», ZAART, TextOnly и др. Лауреат молодежной премии «Триумф» (2005), шорт-листер премии «Дебют» (2005), финалист премии «Книгуру» (2013), премии Владислава Крапивина (2018) и Андрея Белого (2013). Автор 10 книг стихов и прозы. Живёт в Москве.

Игорь Ваньков родился в 2001 году в Красновишерском районе Пермского края в поселке Цепёл. Участник Всероссийского поэтического слэма в Красноярске. Публиковался в литературном журнале «Вещь» и на портале «Полутона». Участник «Лаборатории медиапоэзии 101». Лонг-листер премии Аркадия Драгомощенко (2021). Живет в Перми.

Сергей Васильев родился в 1993 году под Новосибирском. Окончил Новосибирский государственный университет. Со стихами и прозой публиковался в альманахе «Артикуляция» и на «Полутонах». Автор сборника стихотворений «Всё лишнее» (2020) и «49 (роман воспитания)» (2020).

Артём Верле родился в 1979 году. Окончил исторический факультет Псковского государственного педагогического института (2001). Кандидат философских наук. Публиковался в журналах «Воздух», «Волга», *L'immaginazione* (Lecce, Italia), *Poesia* (Milano, Italia). Автор трех книг стихотворений. Лауреат Малой премии «Московский счёт» (2015). Стихи переводились на польский, итальянский, испанский, украинский, финский и литовский языки. Живёт во Пскове.

Нора Боссонг родилась в 1982 году в Бремене, выросла в Гамбурге. Изучала искусствоведение, философию и компаративистику в Университете имени Гумбольдта в Берлине, в Потсдамском университете и в Университете «Ла Сапьенца» в Риме. Автор нескольких романов и книги стихотворений. На русский переведен роман «Общество с ограниченной ответственностью» (2017). Лауреат Премии Берлинской академии искусств.

Ольга Брагина — поэт, переводчик. Родилась в 1982 году в Киеве. Окончила факультет переводчиков Киевского национального лингвистического университета. Автор трех поэтических и одной прозаической книги. Публиковалась в журналах «Воздух», «Парадигма», «Сноб», TextOnly, «Контекст», «Новая Юность», «Интерпоэзия», «Волга», «Двоеточие», «Цирк «Олимп» + TV», альманахе «Артикуляция», на портале Litcentr и др. Стихи переводились на английский, польский, чешский и латышский языки. Живёт в Киеве.

Ульяна Вольф — немецкий поэт и переводчик (с английского и польского языков). Родилась в 1979 году в Восточном Берлине. Изучала культурологию и английскую литературу в Берлине и Кракове. Ее работы посвящены исследованию многоязычия. Лауреат премии Петера Хухеля (2006), премии Адальберта фон Шамиссо (2016) и др. Автор нескольких сборников стихотворений.

Николай Гостюхин — журналист, кинокритик, драматург и театральный режиссер. Родился в 1989 году в Кизеле Пермской области. Окончил филологический факультет ПГНИУ по специальности «Журналистика». Автор пьес «Последнее путешествие» (Театр «Галерка», Екатеринбург), «Следующая остановка», «Процесс» (Театр «Сцена-Молот», Пермь), «Карантин». В качестве режиссера поставил спектакли «Иранская конференция», «Волнение», «Процесс», а также снял полнометражный фильм «Иллюзии» (онлайн-кинотеатр Okko). Живет в Берлине.

Данила Давыдов родился в 1977 году в Москве. Окончил Литературный институт и аспирантуру Самарского государственного педагогического университета. Кандидат филологических наук. Специалист по наивной и примитивной поэзии. Первый лауреат национальной молодежной литературной премии «Дебют» (2000, за книгу прозы «Опыты бессердечия»). Один из составителей антологии новейшей русской поэзии «Девять измерений» (2004). Автор статей и рецензий в журналах «Новый мир», «Арион», «Критическая масса», «Новое литературное обозрение» и др. Автор семи книг поэзии, прозы и критики. Живет в Москве.

Ирина Кадочникова родилась в 1987 году в Камбарке Удмуртской АССР. Окончила филологический факультет Удмуртского университета. Кандидат филологических наук. Публиковалась в литературном журнале «Луч», «Литературной газете», альманахах «Решетовские встречи» и «Вещество». Автор двух поэтических книг. Живет в Ижевске.

Николай Кононов родился в 1958 году в Саратове. Окончил физический факультет Саратовского университета, а затем в Ленинграде аспирантуру по специальности «Философские вопросы естествознания». Основатель (1993) и главный редактор петербургского издательства «ИНАПресс». Автор 11 поэтических книг, 7 романов и двух критических книг. Лауреат премий имени Аполлона Григорьева (2002, за роман «Похороны Кузнечика»), Андрея Белого (2009, за книгу стихов «Пилот») и Юрия Казакова (2012, за рассказ «Аметисты»). Живет в Санкт-Петербурге.

Виталий Кропман — журналист. Родился в 1961 году в Перми. Окончил Пермский политехнический институт. Публиковался в литературном журнале «Берлин. Берега». Живет в Германии.

Иван Курбаков — писатель, музыкант, кинорежиссёр. Родился в 1987 году в Москве. Учился в Литературном институте, окончил факультет кинорежиссуры Московской школы нового кино. Стихи и эссе публиковались в альманахе [Транслит], на портале Syg.ma. Автор двух книг стихов. Живет в Москве.

Владимир Лаврентьев родился в 1956 году в Перми. Окончил юридический факультет Пермского государственного университета. Публиковался в журналах «Уральская новь», в альманахах «Пульс-1991», «Третья Пермь». Автор пяти поэтических книг. Участник «Антологии современной уральской поэзии». Живет в Перми.

Алексей Рачунь родился в 1976 году в городе Кунгуре Пермской области. Окончил Кунгурский сельскохозяйственный колледж по специальности «юрист в области сельского хозяйства» (1996). Публиковался в еженедельнике «Литературная Россия», интернет-газете Lenta.ru, журналах «Великоросс», «Парус» и «Эмигрантская лира». Лауреат литературного конкурса имени Каверина (2012) и литературной премии «ДИАС» (2021). Живет в Перми.

Андрей Сен-Сеньков родился в 1968 году в Таджикистане. Окончил Ярославскую медицинскую академию. Автор тринадцати книг стихов, малой прозы и визуальной поэзии. Лауреат Тургеневского фестиваля малой прозы (2006), Премии Андрея Белого (2018). Стихи переведены на 25 языков, книги избранных стихотворений выходили в США (премия американского ПЕН-клуба за лучшую переводную поэтическую книгу года), Сербии, Италии и Нидерландах.

Марина Хаген родилась в 1974 году в Челябинске. Поэт, участник арт-группы «бАб/ищи». Публиковалась в антологиях «Нестолычная литература», An Antology of Contemporary Russian Women Poets, журнале «Воздух» и др. Победитель Всероссийского конкурса хайку (1998). Автор книги «Зимний тетрис» (2020). Живёт в Москве.

Ирина Христолюбова (1938–2016). Прозаик, детская писательница. Заочно окончила филологический факультет Пермского государственного университета. Публиковалась в сборниках «Молодой человек», «Оляпка», «Горизонт», в альманахе «Третья Пермь», в журналах «Урал», «Мурзилка». Автор книг «Загадочная личность» (1982), «Колокольчики мои...» (1985), «Топало» (1987). Лауреат областной премии по литературе и искусству (1997).

Ася Энгеле — поэт, танцхудожник. Родилась в Санкт-Петербурге. Автор поэтических книг «смирнее только свист звериный» (2017) и «ускорение собственное» (2020). Живёт в Яффо (Израиль).

Вещь: Литературный журнал. — Пермь: Издательство «Сенатор», 2021. — 138 стр.

Редактор:
Павел Чечеткин

Выпускающий редактор:
Юрий Куроптев

Дизайн обложки:
Иван Моисеенко

Верстка, дизайн:
Евгения Тесленко

Корректор:
Марина Артемова

Иллюстрации Насти Литецких

Рукописи для публикации принимаются по электронному адресу:
e-mail: senator.perm@gmail.com

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются. Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции. При перепечатке материалов ссылка на журнал «Вещь» обязательна.

Тираж 200 экз.

Адрес редакции:
614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 21
Тел. (342) 212-32-17
e-mail: senator.perm@gmail.com



Проект осуществлен при поддержке Министерства культуры Пермского края

© «Вещь», 2021
© Авторы, 2021
© Издательство «Сенатор», 2021

